ЕВГЕНИЯ ГЕРЦЫК

ВОСПОМИНАНИЯ

Н. БЕРДЯЕВ
В. ИВАНОВ
Л. ШЕСТОВ
М. ВОЛОШИН
С. БУЛГАКОВ
А. ГЕРЦЫК

YMCA · PRESS
Paris

ЕВГЕНИЯ ГЕРЦЫК

ВОСПОМИНАНИЯ

Н. БЕРДЯЕВ **В. ИВАНОВ**
Л. ШЕСТОВ **М. ВОЛОШИН**
С. БУЛГАКОВ **А. ГЕРЦЫК**

YMCA-Press
11, rue de la Montagne Ste-Geneviève, Paris 5.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Евгения Казимировна Герцык (1875-1944) принадлежит блестящей эпохе русского культурного ренессанса начала XX века, в который и сама внесла определенный вклад. Она — переводчица на русский язык произведений Фр. Ницше, С. Лагерлёф, Э. Карпентера, В. Джемса, А. Мюссе, Ж. Гюисманса. Кроме переводов, часто делавшихся совместно с сестрой, поэтессой Аделаидой Герцык, Евгения Казимировна писала статьи : ей принадлежит статья о Вячеславе Иванове « Религия страдающего Бога », статьи о Фр. Ницше, Эдгаре По (остались неопубликованными).

О жизни Е. Герцык известно немногое. Родилась она в г. Александрове в семье инженера. Семья часто переезжала : Александров, Севастополь, Юрьев-Польский, Москва. В гимназии Е. Герцык не училась, страдая от бронхиальной астмы, и экзамены сдавала экстерном. Затем окончила Высшие женские курсы в Москве по историко-филологическому отделению.

После революции она постоянно жила с семьей брата Вл. К. Герцыка в Судаке и на Кавказе. В 1938 г. Герцыки переезжают в госзаповедник в Курской области, а во время войны, на соседний хутор « Зеленая Степь », где Е.К. Герцык умирает 20 января 1944 г.

Свои воспоминания, названные « хроникой », Е. Герцык начала писать примерно в 1935 г. и закончила их в 1941-42 г. Кроме этих воспоминаний ею ещё написана биографическая повесть « Мой Рим » с вымышленными именами, так и оставшаяся неопубликованной.

Воспоминания автора, принадлежащего к кругу знаменитых деятелей русского культурного и религиозного ренессанса : Н. Бердяева, С. Булгакова, Л. Шестова, М. Гершензона, Вяч. Иванова, М. Волошина, о. П. Флоренского и др. интересны во многих отношениях. Это и описание духовного пути, умственных и религиозных исканий, которыми шла культурная элита того времени, и живые портреты великанов русской культуры, набросанные с близкого расстояния, и воспроизведение атмосферы тех лет и рефлексия самого автора, на закате жизни после десятилетий « советского » опыта размышляющего о ценнейшей странице в предреволюционной русской истории.

Читателю и в Советской России и в Зарубежье они помогут снова открыть эту страницу, заглянуть в сокровищницу русского духовного наследия.

I

ДЕТСТВО

1.

В трех часах к северу от Москвы, леса, сплошь леса : то сквозные, березовые, то чаща замшелая, где ветвистые ели сплелись с осиной; что ни станция — то историческое имя : Троице-Сергиево, Хотьков монастырь, совсем уже сказочное Берендеево, Александровская слобода Грозного Александров. В этом Александрове и прошло наше детство, сестры и мое, отсюда начало воспоминаний.

Но семья наша пришлая, не имеет в этой земле корней, хотя прожила здесь долгие годы. Отец — инженер, строил участок этого пути к северному морю и остался заведывать им. Сам же он и построил этот просторный уютный дом, где мы жили. Вознесенный над железнодорожным полотном там, где оно пролегало в глубокой выемке, стоял дом — точно на высоком берегу реки. Кругом — цветник, аллеи, вновь разбитый английский сад, многочисленные службы. Широко, по-усадебному раскинулись — но не усадьба с ее сельскими работами, сложными отношениями к

крестьянам, с нудными заботами о сроках закладной. Легче жили, собранней, может быть чуточку не по-русски : не объедались, не опивались, не закармливали гостей до отвалу. Девочкой попадая в чужие дома, я всегда удивлялась как там много едят ! « В гостях едят ужасно много и в гостях всегда чем-то пахнет » отмечаю я, с детства сверх меры восприимчивая ко всем чувственным впечатлениям. В старинном доме соседей-помещиков я принюхиваюсь к запахам — столетним — штофной мебели, из стеклянной горки — какими-то задумчивыми ананасами, которых давно не выращивают в их заброшенной оранжерее... Наш дом — мой сверстник или чуть постарше : в нем нет старой мебели, нет застарелых запахов. Но нет и прадедовских секретеров, кресел с львиными ручками. Мебель удобная, без вычур. Это восьмидесятые годы, время художественного одичания России, опустошения слова, вкуса в убранстве, в одежде. Но на обстановке это пока не отразилось : мебель еще мастерят по солидным английским образцам.

2.

Семья отца польского рода. Когда-то владели землями — я раз всего мельком взглянула на родословное дерево, восходящее к XV веку — не было спеси — от недомыслия, не было любопытства к этому : не знаю, уж теперь не знаешь — с каких пор лишились всего и остались служить царям. Обрусели, забыли бесследно горечь национальной обиды, как забыли язык. Но донесли и сохранили в котором-то уж поколении не-русские черты. Многочисленные братья и сестры отца связаны были влюбленной дружбой. Съезжались, шумно смеялись, грохотали за обеденным столом, целовались без конца. Фривольные разговоры, легкие безобидные вольности и — крепкая, нежнейшая семейственность. Когда женился один — братья и сестры тотчас же влюблялись в его жену. Служа, не добива-

лись чинов, всюду сохраняли некоторую независимость. Не от духовной свободы — от беспечности и барственного пренебрежения к карьеризму. Но служаки были исправные. Те, кто жили в Петербурге, царя называли государем-императором, возмущались нигилистами. В этом не было корыстного реакционерства; тем менее — идейного : к отвлеченному мышлению были совершенно неспособны, мысль вообще была не по ним. Позже, взрослой, обходя их петербургские квартиры, я тщетно искала хотя бы одной книги... Зато все были музыкальными по слуху, то и дело заливались итальянскими ариями, а то и скороговоркой французской оперетки. В женщинах еще играла щебечущая польская прелесть, мужчины — в глубине хранили черты рыцарственности, все из той же « отчизны ». Такой рыцарственный жест — смерть меньшого брата отца уже в мировую войну. Он командовал полком и в самые первые, еще июльские дни, его артиллерия дала залп по своим. Он не был виновен, не подлежал ответственности, но — честь... Он застрелился. После Октября никто из них не эмигрировал — доживали, доголадывали, рассеянные по стране, усыновившей их.

Милое, без следа исчезнувшее племя, какой-то мелькнувший поворот лица человеческого, ни в чьей уж памяти не запечатленный, живущий, не запечатленным.

3.

В характере моей матери отзвук германских ее предков : неясная, глубоко чувствующая мечтательница — это рано умершая мама, так рано, что зримого образа мне не оставила, бормотала — только в крови свою песнь, несхожую с окружающим. От большой любви и тихости она вся растворилась в муже и после ее смерти нигде в доме, в вещах, безделушках нельзя было найти ее — я не знаю ее любимого цветка,

книги, мечты. ... Отец любил ее восхищенной любовью. Любя, задаривал, украшал. Но в дарах — он, не она. Этот дом, который он с обдуманной заботой строил для нее и детей, отразил только его вкус. Через всю жизнь отца прошла романтическая мечта о юге и море. Детские воспоминания о Севастополе осажденном в морских пейзажах на стенах и цветные литографии « Эсмеральда с козочкой », которые под грохот были вывезены из полуразрушенной Константиновской батареи; юношеские годы военной службы: Тифлис, увлечение итальянской певицей, разъезды с зятем и другом, художником Лагорио по незамиренному Кавказу — все это оставило следы в виде акварелей, оружия с чернью итальянских песенных альбомов и рассказов, слышанных нами в детства. Талантом жизни обладал отец: голос его, отчетливая походка, смех, ласка, гнев — все повышало для окружающих тонус дня. Ничего от мысли, никакого философствования — вкус к жизни в ее простых проявлениях, к труду и развлечению, к усталости и отдыху. Во внешнем облике отца некоторая элегантность и одеваться любил у первого портного Москвы. С женщинами галантен — безразлично, с важной ли гостьей или с женой старшего рабочего, когда она, нарядившись, приходила поздравить с праздником. Рабочими был любим, несмотря на бешенные вспышки. Отступая в прошлое до его туманной грани, нащупываю первый зрительный образ отца: в дождевом плаще, с которого ручьями стекает вода, на перевозе вернулся с строящегося моста, где разливом снесло « быки ». Эти необычайные быки в реке, поразив, запомнились. Отец хороший инженер, увлечен делом. Однако он не продвинулся выше, оставаясь всегда как-то в стороне от начальства, от общества путейцев. Его ближайший приятель — молодой фабрикант, вывезший из-за границы либеральные идеи организации труда, а позже — владевший фабрикой по-старинке. Ему в лад либеральничает и отец, громит Каткова, Победоносцева. Раз даже у

нас несколько дней укрывался кто-то нелегальный. Но это все несущественный налет, а под этим другая — не libertas, не гражданская свобода полного пульса, счастливой любви, свобода наездника, когда он с конем одно.

Счастливая любовь! Ее излучение в какой-то час еле заметной убыли становится магнитом. В один осенний вечер к нам в дом попала помещичья дочка, красивая, избалованная успехом девушка. Как не похожи облики хозяев на знакомые ей уездные типы! Грациозная хозяйка за роялем, с нежностью оглядывающаяся на мужа, он — у фисгармонии, старинные итальянские церковные секстеты. А над фисгармонией гравюра: Зичиевский демон распластал крылья над встревоженной Тамарой. Гостья, покинув в тот вечер наш дом, едучи беззвездной ночью вся пронзена патетикой этого демонского образа, будто он, а не встреча с отцом надвое переломил ее жизнь. Начались для двоих годы подавленной страсти, радости и муки, и для одной годы муки и отречения. Мои первые шатающиеся шажки, первые завоевания мира жадными рученками уже встречены улыбкой боли.

Но такова была выдержка тогдашних людей, что ничто в быту дома не выдавало..., по-прежнему бодр и ласков отец, не нарушен порядок дня, — только чаще появлялась в доме новая знакомая, только счастливей загорались глаза отца, только таяла мать. Тяжело проболев больше года, окруженная покаянной заботой отца, она умерла. Я ничего не помню из этих трагических и значительных событий — смерть матери и через год (целый год колебаний и пиетета!) вхождение в дом новой жены. Или, по-своему, непонятно для нас, расценивается важное и неважное в детском сознании. Или, как говорят психоаналитики, память из самозащиты оттесняет все больное в подсознании. Вернее и то, и то.

Во всяком случае наша детская жизнь мало изменилась. Бережно соблюдая ее распорядок, мачеха не

сделалась для нас никем, ни близкой, ни далекой. Злое это слово никогда не приходило нам на ум — звали ее мы просто, как звали раньше — Женечкой — и так и относились к ней, как к привычной нарядной гостье.

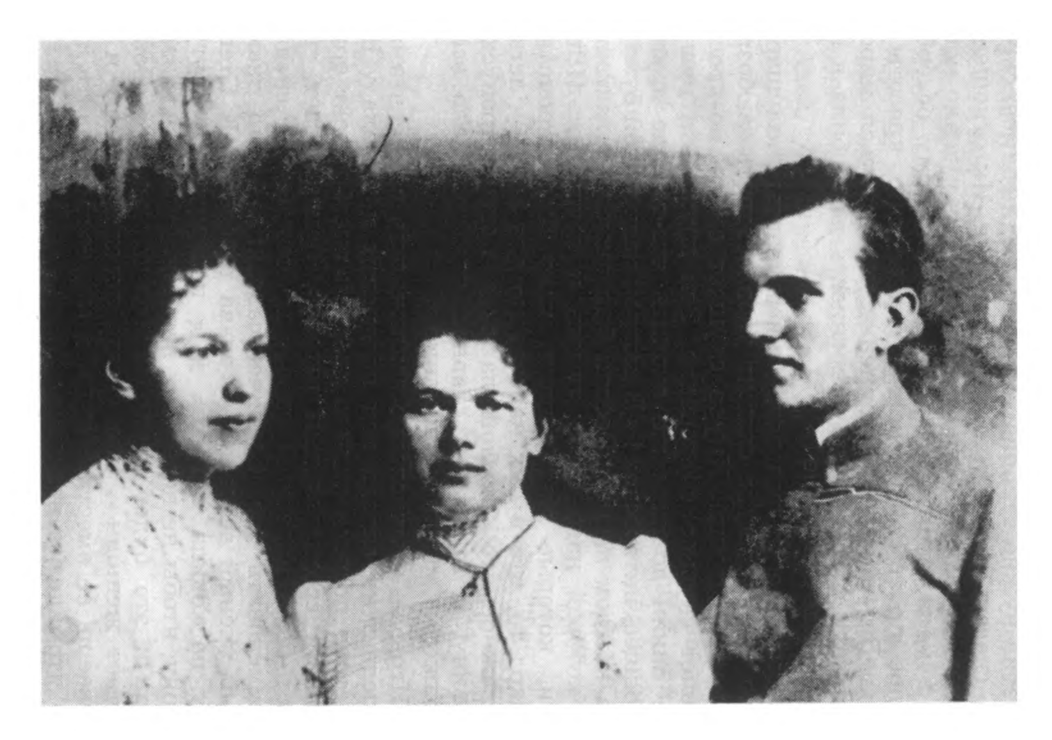
Жизнь моя шла с нею рядом — не сливаясь — долгие годы, и встретились мы внутренне только в очень поздние наши годы. Только когда она стала бабушкой, самоотверженнейшей бабушкой — забавницей, весь долгий путь озарился для меня одним смыслом и я восприняла его со всеми его изломами в его прекрасной цельности пламенной жизни.

4.

Адя. Старшая дочь. Гордость отца. В 3 года уже читает. Семейное предание о том, как при юбилейном чествовании деда — генерала, поставленная на нарядный в хрустале стол, она произнесла поздравительную речь от имени всех детей. И не сбилась, не оробела среди обступивших ее старичков в трясущемся серебре эполет. Было ей 5 лет. В платьице, усеянном множеством бантиков, с панталончиками, по обычаю висящими из-под платьица, коротенькая, некрасивая. Да, некрасивая, умное лицо со складкой напряженной мысли между бровями, такая она на своих самых ранних фотографиях. И от этого, может быть, медленно росла — долго была коротенькая, квадратная, коренастая. Помню, говорили о ее сходстве с портретом Бетховена — вот этим взглядом исподлобья, волевой складкой сжатых губ.

Погруженная в свою какую-то внутреннюю работу, не замечала окружающего. Смеясь вспоминали старшие : отец в отпуске — уже две недели, как уехал. Садятся за обед, девочка рассеянно обводит глазами стол, спрашивает : « А папа не придет ? » Была неласковая, скрытная.

« Я не помню, — говорит она в своих воспоминаниях, — когда я именно разочаровалась в больших.



Сестры Герцык: Евгения, Аделаида и муж Аделадиы Димитрий Жуковский

Постепенно во мне вкоренилось убеждение, что от них не только нельзя ждать ничего нового и важного, но напротив нужно защищать все ценное, любимое, скрывать, спасать его от их прикосновения. Их отношение к вещам — самоуверенное, спокойное возмущало меня. Они думали, что знают все и давали всему оскорбительное простое объяснение, лишая мир красоты и тайны. Вот за это, за неумение пользоваться миром, за слепоту и спокойную уверенность не любила я их. И они были все такие! »

Застав ее за разглядыванием карты полушарий кто-то из взрослых спешит удовлетворить любознательность девочки. Хмуро слушает она и по-просту отгоняет скучное объяснение. Эти кружочки, волнистые линии должны же значить что-то еще другое, настоящее, интересное! « В каждой исписанной бумажке, в каждом пятне на обоях был смысл, была тайна, над которой надо было думать и трудиться. И все книги, которые мне дарили, надо было прочитать двояко: то, что в них напечатано для всех — легкое и неважное, что я поглощала ужасно скоро, пропуская половину, и то другое, главное, что требовало всего напряжения мысли и внимания ».

Игры ее обыкновенно заключались в том, что она « неподвижно сидела над предметом и думала ». Вот она стоит посреди нашего двора и преображает его в немецкий средневековый городок, придумывает, чем может быть каретный сарай, прачечная, — спешит переименовать все. Старичок-садовник — это знаменитый ученый астролог — слава городка. « К Степанычу подходила кухарка, и я повернула в другую сторону, чтобы не видеть их встречи. Они сейчас заговорят, и это будет **неправда:** он угрюм и особенно избегает женщин ». Она всегда перегоняет игру и не успеваешь ее вместить туда, а главное исправить, потому что она вся неверная.

Вдруг затосковала по своей прежней няне-немке, жившей в Ярославле за немцем-машинистом.

И задумала со мною, четырехлетней, идет к ней. В течение нескольких дней мы накапливали кусочки хлеба и жили в восторженной тайне. В летний вечер, когда нас уже уложили и большие в зале занимались музыкой, она подняла меня, одела. До станции (а Ярославль по ту сторону станции) было четверть версты, и это расстояние мы кое-как прошли в темноте, но тут я забоялась, расплакалась, стрелочник взял меня на руки и, сопровождаемый смущенной Адей, уже крепко спящую, внес меня на балкон. Нас еще не хватились, и переполох был велик.

Это маленькое приключение показывает, что у сестры был не только дар фантазии, но и воля к осуществлению задуманного. Она не была безвольной как сама говорит в своих воспоминаниях, через призму лет окрашивая себя, прежнюю, в преобладающие тона себя позднейшей. Много упорства проявляла в учении. В детской у нас висела гимнастика — кольца — «и Адя в течение нескольких...

II

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Первая любовь. Лето 1900 года. Верчу в руках маленький паспорт с непривычной пометкой: Ohne Religion. Я зашла на Арбат к уютным нашим тетушкам — у них иногда снимали комнату иностранцы, приезжавшие обучаться русскому, и вот только что она прописала молодого профессора-швейцарца. Ohne Religion — слова эти говорят мне сейчас не об атеизме, не о том, что мир безбожен — наоборот, вместо будничных загонов « православный », « римско-католик », мне вдруг привиделся человек лицом к лицу без забрала — с огромностью космоса. Все это один миг — с паспортом в руках — сердце расширилось.

Нас познакомили на летнем Брестском вокзале. Подошедший поезд выбросил толпу дачников со снопами цветов. Вечерние газеты. Читаем о смерти Вл. Соловьева в Узком. Я не знала тогда ни строчки его, но, взволнованная смертью, путаясь, по-французски рассказываю иностранцу о странностях нашего философа. Внимательный, вопрошающий, острый взгляд. Тонкие красивые черты. Очень молод. Нет, он не швейцарец, или не только. Мать австриячка, воспиты-

валась в Англии, окончила Кембридж. Родина? Просто Европа, вся.

Родственницы, очарованные своим постояльцем, привели его как-то к нам на дачу. Он экономист — чужое... Впрочем, с ним легко: у него английская непринужденность в обращении. И вместе — галльская живость. Водим его по Останкинскому парку, нащупываем темы. Французская поэзия? Модернизм? Нет. Вдруг — Ницше, античность — загорелось.

На сентябрь все мои уехали в Крым. Поступив на только что открывшиеся Высшие женские курсы, я осталась одна на городской квартире. Velleman тоже доживал последние недели в Москве. Пришел ко мне вместе с тетушками, на другой день один, на другой — опять. Все значительные люди, встречавшиеся мне до тех пор, были насквозь скептиками, пессимистами и так нова мне его ясная уверенность в смысле жизни и работы на общее благо, bien commun. А от русского студента-идеалиста отличает его внутренняя крепость, стальной скелет, ощутимый и под гибкостью и широтой суждений. И светлое чувство меры. То-то любовь к Греции!

В кармане его неизменная «Капитанская дочка» с подстрочником, и когда в разговоре нашем что-то слишком значительное вспыхивает, пугая нас самих, он, улыбнувшись лукаво, примется читать. Старательно произносит, а я, глуша волнение, поправляю ошибки.

Гуляя, мы забрели в Кремль мимо облетавшего Александровского сада, — в Кремль, и мне вдруг ставший заморским, сказочным, из царя Салтана, — которого я вчера только читала ему — и как мы смеялись веселой парности рифм, а я краснела толкуя ему, что значит «царица понесла»... Но полно — близки ли мы внутренне? Мы утверждаем одно и то же, а стрелка указывает разные направления. Его безверие — подвиг и стоило ему разрыва с любимым отцом-католиком. Мне — русской оно далось даром и уж томит,

— только вот сейчас, с ним, с Веллеманом, играет последним дерзким весельем. Ницше? Для него — это бунт против затхлости, узости университетских школяров, для меня — первые зарницы нового закона надо мной, беззаконной. Для него... для меня... Но что в том — сегодня мы сливаемся. Рождение любви — у обоих первой.

В день отъезда, зайдя ко мне утром Веллеман в волнении не садится, ходит по моему кабинетику, притрагивается к разбросанным книгам, гравюрам. Начинает говорить, обрывает... Остановился за плечом у меня, сидевшей в низком кресле и — на своем любимом, на языке души, почти без звука: I love you, I love you, и смотрит ждущим, радостно уверенным взглядом. Молча, снизу смотрю на него в нестерпимом блаженстве.

Вечером среди других, под осенним дождем провожала его на Брестском вокзале. Настойчиво вопрощающий взгляд. Сбивчивые слова: « Я напишу... » « Вы напишете... »

Потянувшиеся дни одиночества, жестоко-преждевременного, минуты ужаса перед чем-то, сухие губы, горячечные глаза, — все это, не обманней того мига счастья, говорит мне, что — да, это любовь. Как незрячая брожу по дому, встречаю вернувшуюся семью, хожу на лекции, каждым нервом, каждым толчком пульса жду падения письма в ящик в передней. О, это ожидание, этот звук запомнены извилинами мозга на все будущие тысячелетия! Упало. И сердце тоже... Идешь, замедляя шаги — не то письмо. Всегда не то. Дни, недели, — сколько их? И вот оно через полтора месяца: большой лист, кругом исписанный нетерпеливой его решительной рукой. Рукой, властно повернувшей наш роман по нерусской стезе, по иностранной — с сыновним долгом, с нерушимостью слова. Читаю. Еще по дороге в Вене, его встретила весть о железнодорожной катастрофе, при которой погиб его отец. Все это время он в разъездах. Мать, после похо-

рон опасно заболела. Распутывание семейных дел. « Чтобы вы верно поняли меня, я должен ввести вас в некоторые детали, касающиеся меня и моей семьи. Мне придется теперь спуститься в низменные сферы жизни (into lower spheres) на годы и годы отказаться от творческой научной работы, и я больше не вправе рассчитывать на внимание с вашей стороны. Говорю это не потому, чтобы я считал свои страдания заслуживающими большего сочувствия, чем страдания миллионов вокруг меня, но исключительно для того, чтобы вы сохранили обо мне дружескую память и простили меня, если я обманул ваши ожидания ».

О, как безнадежно... Он рисует образ отца, умного, талантливого изобретателя, но — слепо приверженного католической церкви. Когда V. юношей отошел от религии, это поселило раздор между ними. Кому-то выгодна их вражда — замешалась клевета. Отец — фанатик поверил, что сын, отойдя от церкви, способен на всяческую низость и написал ему жестокое письмо, на которое Веллеман ответил негодующим протестом. На этом переписка оборвалась. Это было два года назад : « Это вам объяснит, почему внезапная смерть отца была мне так невыразимо горька. Ведь наши последние слова друг другу были полны озлобления. Его обезображенное лицо преследовало меня по ночам, не давая покоя. Все это, dearest friend, касается моих личных чувств. Вы, пожалуй, найдете в них оттенок средневековья, — может быть это и так, но я ничего с этим не могу поделать. Но есть еще и другая сторона ». Взяв на себя приведение в известность отцовских дел, он выяснил, что долги значительно превышают состояние. « Это на многие годы обречет меня на рабство : долги должны быть выплачены, а чтобы выплатить их нужен жестокий труд — и не для человечества, не для себя, а для денег, которых занятия наукой не дадут. Такова, по-видимому, моя судьба на ближайшие годы : вместо светлых надежд, с которыми я покидал Москву, надвигается ночь, и

ночь будет долгой и темной, и одинокой, и беззвездной... »

Суровой простоты письма, в котором не было ни красивых фраз, ни философских взглядов — не почувствовала. Не расслышала в нем и обращенного ко мне такого бережного и, вместе с тем, гордого вопроса. Он мало любит, если пишет обо « всем таком » и ничего — о нашей встрече... Говорилось встарь, что человеку на его пути многие предстоят испытания, и что каждый испытывается по-разному, каждый — тем, что ему всего чужеродней... Перечитав сегодня это письмо, так никогда и не проникшее в мой слух, я вижу, что в нем было испытание простотой. И испытания этого я не одолела. А непреодоленное испытание отбрасывает человека назад, замыкает его в том его свойстве, через которое он не смог перешагнуть. Меня — на долгие годы в непростоте. Но здесь я забегаю вперед.

Я ответила Веллеману письмом, в котором и нежности, и возвышенных мыслей хоть отбавляй, но не было одного, что ему было нужно.

Молчание. Молчание. Опять прислушивание к падающему письму. Вся жизнь — в полуяви. На вторичное мое письмо — открытка сквозь стиснутые зубы : dearest friend, я так занят...

Крепче утвердилась мысль : он и не любит, и не любил. Самоуверенности вообще у меня не было : я некрасива, в обществе не находчива, и всякий раз вызванное мною чувство меня удивляло и было мне неожиданно.

Безрадостно, пустынно тянутся зимние месяцы. И вдруг — немецкое, бисерным почерком письмо. Подпись смешная : « Зук » Читаю : сквозь дебри философской превыспренности, под аркадой из имен Канта, Фихте — дверь в рай. После пространных восхвалений друга, вернее учителя своего, мой незнаемый корреспондент говорил :

« Там, где я вижу два равно высоких существа, питаю я для друга моего больше надежд, чем он сам.

Поэтому дерзаю сказать: Herr dr. Velleman любит вас в той же мере, в какой он чтит вас. Не встретив ответа с вашей стороны, он со скорбью, но стоически отказался от надежды соединиться с Вами. Он замкнулся, он молчит. Но я твердо знаю, что и сейчас...» и т. д. Зук заверял меня, что Веллеман ничего не знает об этом письме и не узнает, если я соблаговолю ответить ему, Зуку. Он не мог поверить, чтобы женщина отвергла его прекрасного друга, он надеялся, что это недоразумение... Трогательная, геттингенская дружба, во имя которой этот юноша, трепеща, нарушал все правила немецкой благопристойности! Из всего этого я восприняла одно блаженное: он любит. И в благосклонном моем ответе я великодушно разрешила показать мое письмо Веллеману, который и без того не может не знать, как велико мое чувство уважения, симпатии, дружбы... Мне казалось, что мой ответ очень горд и за него, и за меня, и что мы и впрямь два Übermensch'а, стоящие на разных концах Европы. И, главное, мне хотелось продления сладостного «любит» и не хотелось того да-да, нет-нет, которого требовало нерусское, чуждое психологических ухищрений чувство Веллемана.

С лица моего еще не успела сойти улыбка счастья, как пришло необычно скоро — взбешенное письмо Веллемана, взбешенное, конечно, на не в меру усердного друга, за которого злыми словами он приносил мне извинения. Но холодным своим гневом оно ушибло м е н я. Все навсегда кончено...

Есть улицы в Москве, которые до сегодня окрашены для меня мыслью о Веллемане. С курсов, чтобы не идти домой, дольше не видеть своих, сворачивала на Поварскую, малолюдную, засаженную деревьями улицу; туда занесла семя несбывшегося и ходила потом на безрадостные встречи. Впрочем не только безрадостные: молодая боль, что овес, весною посеянный в ящике — чуть не на глазах прорастает, нежно зеленеет.

Лето. Мы с сестрой в Швейцарии. Втихомолку задуманная ею поездка: часами сидела над переводом, копя нам деньги. Встретить нас в Берн приехал Веллеман. Вырвался на несколько часов. Он уже больше не профессорствует — забился в крошечный городок в Locl'e, где в колледже преподает по 12 часов в день, долбит что-то мальчишкам. Ночами подводит финансовые балансы своего кантона. Побыть мы сможем только, если приедем туда, но смеет ли он звать нас в такое неинтересное место? О, конечно, мы приедем. И вот, наспех осмотрев все самое прославленное: зубчатки, ползущие среди елей, гремучие потоки, голубизну глетчеров, через две недели мы в Locl'e. Живут там только часовщики, тикают на каждом доме снаружи часы. Да еще огромный на всю Швейцарию коммерческий колледж. А он, Веллеман? Прошлогоднего юношеского облика нет. Этих, как ни у кого сверкающих глаз. Весь поблекший. Приветлив, ровен, безличен. Оживляется только, говоря о подготовляемой им лекции самого демократического направления: l'égalité en matière d'impôt последний научный праздник, как он говорит. С материнской нежностью: ах, пусть хотя impôt, лишь бы светлел!

Раз мы зашли к нему. Смутили его. Крошечный cabinet d'étude — с полу до потолка книги. Над столом неаполитанский барельеф-Вакх и запрокинувшая голову вакханка. Долго смотрю. Любимая им эллинская радость жизни! По стенам приколоты эскизы карандашом, сангиной — быстрой смелой рукой набросанные портреты. Наш интерес к этой его, для нас неожиданной, способности, оживил его, он вытащил запыленные папки. Ведь все это далеко в прошлом... Потом показывает семейные фотографии. Лукавая, давно забытая улыбка на губах. Сидя на двух фолиантах, у моих ног (с чуть-чуть иронией: Офелия), положил мне на колени фотографию молодой женщины. Я: I like her. Кто это? И отложила. Деланное равно-

душие. Он упорно снова придвигает фотографию и смотрит на меня — как смотрит?

Вечером сижу на открытом окне в маленьком салончике нашей гостиницы, он с папиросой рядом на стуле, Аделаида за пианино разбирает какие-то венские вальсы. Разговор мучительно вихляет, то подступив вплотную к жгучей точке, то снова отхлынув... Поздно. Адя встает. Я умоляющим взглядом возвращаю ее к клавишам. И говорю, наконец, свое «люблю», таимое год. Он каменеет и потом голосом, звучащим издалека: «поздно... поздно... если бы и хотел, я не могу вам ответить. Я связан словом». И стремительно уходит. Всю ночь лежу с широко раскрытыми в темноту глазами: покой обречения, нет, вся боль раскаяния, нет, бунт: что это такое — связан? Что за рабство — связан?

Утром рано он ворвался к нам. Какое перышко сдунуло с его черт этого вчерашнего Веллемана? Сдунуло весь этот год. Юный, юный, как в Москве. «Сегодня не будет колледжа, сегодня я весь с вами — можно?... Я не помню, что вы уедете» И я, сразу и без остатка счастливая: я не помню, что я уеду. Втроем идем гулять — идем во Францию. Четверть часа ходьбы и — граница, дружелюбно переговариваясь друг против друга, на двух концах мостика швейцарский и французский часовые. Француз шутливо осматривает корзиночку с завтраком, взятым нами из отеля. Лесистая Юра уступами, зелеными каскадами ниспадает, открывая к западу синеющие дали лугов, перелесков, вьющихся ручьев. Дальше островерхие колокольни, позвякивание дальних коров. Июльская тишь. Лежим на скошенном французском сене. Счастливая Франция!

На другой день: сегодня опять во Францию? Да, о, да. Сестра мне: что с ним? Что с вами? Молчу. Не говорим мы с ним больше ни о лекции, ни о чем, что будет, пугливо сторонимся будущего, о букашке ползущей по стеблю, о воспоминаниях детства. Смеемся.

Пробираемся в зарослях, не спешим, высвобождая один другого из цепких веток, без нужды переходим ручей, раз и другой раз, и третий, протягивая друг другу руки. Не скажешь, конец ли, начало? Только вдруг его взгляд: о, захоти же! И недоуменно, тихо скажет: какая вы странная, какая... Да, я не захотела бороться за него. Конечно, не ради английской девушки, с детства любившей его и в этот страшный для него год неизменной преданностью завоевавшей свое счастье. Да, он и не нарушил бы, не мог бы нарушить слово «энгеджет»: не того он закала, но был бы весь восторг, вся мука борьбы за свою любовь. Мне же слаще: «не помнить...» Так в призрачном блаженстве прожили мы до минуты расставания.

Поезд врывается — в который раз — в туннель. Грохочет в темноте. Сестра гладит мне руки, оглядываясь на сидящих в вагоне, гладит лицо. «Скажи же что-нибудь, не молчи так. Ты бы задохнулась в этой швейцарской дыре». Я: да, да. «Да не смотри такими страшными глазами. Мы каждый год будем приезжать сюда. Ты будешь его вдохновительницей... У тебя еще все, все в жизни будет — такое небывалое». — Да, да.

Я слишком скоро изжила боль разлуки. Молодость ли? Значительность новой встречи? Годы искания своего пути? Но только, когда через два года мы всей семьей проводили лето в Швейцарии, я едва вспомнила, что здесь где-то Веллеман. Ни тогда, ни позже и не мелькнуло у меня сожаление, что я не соединилась с ним, что жизнь пошла иначе. Ведь на одной стороне — верность своей внутренней линии, связь с людьми одного со мной духа, с судьбой родины... Все полновесно. А с другой что? Зарождающаяся страсть, простое человеческое чувство, может быть и не имевшее будущего. Позже я переживала и любовь, и страдание, и восторг. Не неверна была жизнь, не незначительна. Так у каждого есть свой внутренне-логический путь, свой включающий и свои ошибки, повторности... Да, но ведь можно не взять ему наперерез, наперерез

самому себе, ускоренно скачками — к правде большей, чем своя. Сближение людей различных рас, разной намагниченности, разных духовных возрастов, — отсюда сильное взаимное влечение, но и неизбежность борьбы, — все это как будто копило скрытую энергию.

Но худо ли, хорошо ли — я не пошла наперерез себе.

P. S. Написав эти страницы, заново пережив прошлое, я неудержимо, упрямо, романтически захотела узнать, жив ли Веллеман, и что он. В наши дни найти человека в Европе — что песчинку на морском берегу! Но — непонятная удача — передо мной письмо, печатные рецензии. Из письма незнакомца к моим друзьям узнаю, что Веллеман жив, составил себе имя в научном мире, но не как экономист, а как лингвист. Воссоздал какой-то исчезнувший язык в Швейцарии, составил словарь его. Другие печатные труды. Последние годы специализировался на старинной испанской литературе, профессорствовал в Мадриде, где у него «роскошно обставленная квартира». Эту зиму пережидал войну в Женеве, а в настоящее время едет с какой-то научно-дипломатической миссией в Испанскую Африку — в Испанию Франко.

Так. Вот одна из европейских кривых. И, кажется, почти неизбежных.

Здесь ставлю последнюю точку моей молодой любви.

Весна, 1938 г.

III

РОЖДЕНИЕ ПОЭТА

По иному трагично и мучительно пережила любовь Аделаида. Но и по иному плодотворно. Как бы оберегая муки души от слишком сестрина по-молодому безжалостного взгляда, внешние условия разъединяли нас в эти два жестоких для нее года. Мы жили врозь — я в Москве, увлеченная курсами и новой дружбой, сестра у подруги в Царском, где в одной школе читала ряд лекций по фольклору. Потом, проведя несколько недель дома, вся надломленная пережитым, ехала ранней весной к той же подруге на Украину. Лето тоже врозь, Съезжаясь, мы больше молчали о главном, но она читала у меня в глазах, если неверна, если несовершенна любовь — как можно мириться с нею! Неумная логика молодости.

В памяти у меня воспаленные от бессонницы веки, усталость в опадающей линии плеч. Что запомнила я в истории их отношений? Всего несколько счастливых дней крымской осени, когда давнее чувство восхищенной дружбы при новом свидании разом зажглось поиному. А дальше — всегда беглые встречи, оскорбительно торопливое первое обладание, отвращение к психологическому углублению связавшего их чувства,

к тому, что всего дороже ей. Раздраженное — уже на поезде при расставании: « почему у вас такое страдающее лицо? Ведь я же люблю вас ». Опять разлука и чувство вины, что не сумела быть счастливой и значит — дать счастье. Опять встреча — в благонравном семейном окружении, где ласки украдкой в касании рук, в зовущем взгляде — быть может самые ей сладостные. И встречи наедине в чужой и нестерпимой обстановке в квартире врача — его старой любовницы, перешедшей на роль услужливого друга и сводни. Встречи спаляющие — так хотела она себя уверить, но всегдашняя ее зоркость тотчас же обличала ей всю убогость их. В ней ли, в нем вина? Если он пришел к ней пресыщенный долгой любовной практикой, то она несла за собой всю терпкость, всю безрадостность неверия в жизнь, неверия в себя. И ведь хотела бы поверить, ведь сладко было бы учиться этому у любимого! А языческий культ тела, исповедуемый им и когда-то пленявший не самое ли это жалкое? La chair est triste — вспоминается ей желчная усмешка поэта. А в ее стихах по-иному трогательно прозвучало это: « И станет жалко себя и друга »... Ужас одиночества с глазу на глаз с любимым, которому нечего больше, нечего дать ей, который ничего не умеет взять у нее. Может быть и он страдал от этого.

В шуточной поэме пересмеивал он и себя и ее:

Жил близ моря сатир козлоногий,
Двухкопытный, двуухий, двурогий...
И вот в его лесных зарослях
...поселилось непресное чудо:
  Завелась там сирена морская
  И томилась, по морю вздыхая,
  Чуть проглянет заря — она плачет,
  А сатир утешать ее скачет...

Но несмотря на все его сатиры и приманки...

  Его лес ей чужим оставался.

И вот сатир на плечах галантно поволок рыбо-

хвостую подругу к морю, с камня на камень, скок, все дальше, туда, где пенится бурун, и захлебнувшись потонул.

Так в басне. В жизни не так. Да и море, ее море еще далече. Она и сама не укажет к нему пути. Мишура этих масок — сирены, сатира — нимало не скрашивала для ее безжалостности их любовных будней.

Но не только же это. Были и дни, сулившие полноту. Весна, курчавая немецкая весна, зеленеющие рощи и холмы. Аделаида и ее друг съехались в заграничном санатории. Покорно подчиняются лечебному распорядку, а свободные часы они вместе. Его все больше влечет литература, и здесь, вдали от петербургских служебных обязанностей он с увлечением обрабатывает накопившиеся за долгие годы художественные заметки. И во всем ему нужна помощь и критика подруги, и все крепнет связь с нею, такой ему трудной и непривычной в другие часы. У сестры голос уверенный, задорная улыбка. Она пишет стихи :

Любви уж нет
Душа
...холодная,
...прозрачная
Опал.

(в тетрадке помечено : попытка в духе Arno Holz).

Лукаво улыбаясь возлюбленному, поверх стихов обсуждает с ним правила « vers libres ». О, могло бы...

Окончив курс лечения раньше его, сестра присоединилась к нашей семье, проводившей лето в Швейцарии.

Да, да, поздоровела. Сон лучше, не утомляется.

Спешила хвастнуть своими окрепшими силами, чтобы снять с него всегдашнюю укоризну родных. Не в пример другим семьям нашего круга, в нашей была большая терпимость в вопросах любви — не на идеологическом основании — просто от душевной деликатности, от беспечности, от нелюбви к морализму вообще... Но к другу сестры старшие таили в семье

у нас глухую к нему неприязнь — за пренебрежительный его тон (за выражаемое им чувство превосходства), за страдающий вид Адин... Слушая его рассказы, я размечталась: вы будете как Некрасов и Панаева — у вас будет свой журнал (жена неважно), литературный салон... Сестра улыбалась грустнее. Уже погасила. Уже не верила. Вспоминала как за табльдотом он оживленно склонялся к соседке слева — веселой и нарядной венгерке. И встревожило коротенькое, небрежно нацарапанное письмо его о том, что ему тяжело нездоровится, лихорадит... И я не видела лица ее (ушла на целый день в горы), когда она открывала телеграмму от их общего санаторного приятеля русского. Призыв немедленно приехать — ее другу очень плохо, неудачная операция. Через час она в поезде на север (властная причина не дала мне догнать ее, быть с нею). Ночью одинокое ожидание на грохочущей узловой станции немецкой. На рассвете в Дрездене. По знакомым улицам к спящему санаторию. Среди сада отдельные павильоны-помещение больных. Вот — его. Дверь не замкнута. В сером утреннем свете — он в постели, перевязка сорвана, голова запрокинута, искаженные черты, на полу — разбитый стакан. Он был один, сиделка отлучилась, он умирал один. Поняла ли Аделаида с первого взгляда? Не поняла? Зачем-то взяла в руки подсвечник со свечой, горевшей ненужным жидким огоньком, уронила его на пол и не услышала звука падения. Внезапная глухота. На нее пало все — первые разговоры с растерянно оправдывающейся администрацией: злокачественный нарыв, невозможность спасти, молниеносное заражение крови. Она, ничего не слыша, кивала головой. Ожидание и встреча жены, дочерей. После похорон она вернулась к нам. Она не безумствовала, в отчаянии не искала смерти. Была тиха, будто удивлена. Спасительная, обволакивающая ее глухота понемногу оттаивала, отступала. В глаза, в уши проникал горный мир. Мы жили в уединенном шале — день и ночь внизу, в ущелье грохотал

ручей. Поутру, прорывая клубящийся туман, перед окном качались иглистые ветви лиственницы, розовели вершины. Издалека — зазывный звон коровьих бубенцов. Мы много гуляли вдвоем, больше молча. Тело уставало от горных подъемов, чужая, непривычная красота уводила прочь от себя. Лето перевалило к осени — в горах стало холодно. Мы перекочевали на юг, в укромный уголок на озеро Лугано. И сразу в глаза метнулись осенние краски юга — красный лист винограда, темень плюща, озерная синь, метнулись и разбили немоту. С нами больная, мы могли оставлять только по очереди. Аделаида уходила одна, бродила над озером и складывала бесхитростные строфы, в которых и мхи и лианы перевивали мысль об умершем. Не бесхитростные стихи, а бесталанные. Но стихи целители. С таким чувством смотрю я сейчас на эту бедную, бледную тетрадь. Точно бледная, выцветшая фотография в старом альбоме — только тень когда-то живых черт, живой боли и страсти.

Но как прозрачен в этой тетради творческий путь сестры. Такая жадная на новшества формы в беспечальные свои годы, когда она по очереди влюблялась в разные поэтические школы, теперь она равнодушно хватает первые попавшиеся банальнейшие эпитеты, метафоры. Многословно, ритмически убого изливается душа. Так и кажется, что эти тысячекратно повторявшиеся « трепетная слеза », « строгое безмолвие вершин », « пламенное горе », заключают в себе и общие места переживаний и рассуждений. И только терпеливо вглядевшись в это скучное стихотворчество видишь, что это не так, что авторское чувство жизни необычно, порой парадоксально и что оно, по правде говоря, вовсе и не выражено в этих стихах, а кое-как небрежно втиснуто в них и притоптано всеми этими лирическими штампами.

Еще в первых, наивно-любовных стихах звучат у нее не совсем обычные мотивы. Не укоризна, не жалобы — она жалеет е г о , не умеющего любить.

Не вы, а я люблю,
Не вы, а я богата.
Но — обману, но — разлюблю,
Чтоб боль блаженную утраты
Вам даровать...

Это лишь кажущаяся манерность — она вправду так чувствует: ей вправду боль реальней, и потому слаще обладания. Ее отношение к жизни никогда не просто, не цельно, оно всегда точно затуманено. Сознание раздвоено, расщеплено. Вот сама она терзаема любовной обидой —

А душа моя спит наяву
И во сне
И ропщет эта душа.
Ты неверный избрала мне путь!
Не давай мне уснуть.

Как характерны для поэта символиста эти диалоги его со своей душой.

В борьбе между торжествующей жизнью и страданием Аделаида всегда на стороне страдания. Ей ревниво думается, что люди плохо горюют горе, не дают ему встать во всю мощь, ей бы укрыть его.

И всю ночь стеречь,
Чтобы горе от людей
Ночью хоть сберечь...

Подругу, бунтующую против страдания

— Твое горе — недотрога
...ерошится
Словно еж щетиной —

она шутливо увещевает:

... приручить бы
Эту тварь лесную,
Выманить из чащ дремучих,
Лаской приголубить,
Чтоб у ног твоих ложилась,
Чтобы шерсть, блестя, крутилась
Под твоей рукой....

Приманить, приручить страдание, наиграться с ним — это ли не мотив поэта Аделаиды Герцык?

Так горем — так же и со смертью. Ее хрупкому, непрочному чувству жизни вторит столь же призрачное чувство смерти. Что это — смерть? Потеряв любимого, она мучится тем, что не находит образа, равного смерти, не умеет назвать ее, что сама смерть — зыбка, неокончательна, что он недоумер, как она — недожила, недолюбила. Все неосуществленно, все зыблется, и ничему нет покоя. Полутона, четверти тона, шестнадцатые — как выразить их привычными округлыми размерами — не потому только, что она плохо владеет ими. Вернее, вовсе не владеет, у нее нет уха для них, нет руки для ковки их; ученически, рабски воспроизводит школьные образы. Нудные анапесты, которыми привычно изливаться женским песням, разлапый амфибрахий, а больше всего — тощий ямб. Но вот постепенно, нагнетаемые внутренним переживанием, ритмы ломаются, выпадают слога, недозвучав, гаснут концы строчек... Появляется «полусофическая строфа» или подобие ее, такое характерное для нее в будущем —

Отчего, за что я люблю ее?
Она вся изранена.

Перестройка формы идет не от прикосновения к искуснейшим мастерам стиха, нет. Ведь она уж давно пленена парнасцами, их скульптурностью, пытается переводить их, но в своей поэзии ничему так и не научилась от них. Рядом с их парчевой ризой на ней все то же старомодное, худо сшитое платьишко. Что далекие парнасцы! Уже вышли первые книги русских символистов, их изысканный стих вызывает в одних смех, в других — восторженный интерес. Бальмонт, Брюсов — темы яростных споров. И в те годы многие примыкали к новой школе, сперва пленившись новизной формы, и лишь постепенно сквозь эту форму просачивались в них душевные оттенки и изломы, родившие ее. Что ж — и это путь. Но путь Аделаиды иной.

Ей нужно было стать новой, чтобы стих стал новым. Вернее, не новой, а собою, до конца, отбросив все условности — не поэтические только, а жизненные: как человек, как женщина с бесстрашием заглянуть в свои глубины и полным голосом назвать их.

Я не знаю, муки нужны ли крестные,
Чтобы семя прозябло к жизни новой?

спрашивает она. И вправду — нужны ли? в мое молодое время страдание было в чести. Верилось, что только через него путь. Радость жизни была под подозрением, казалась недостаточно глубокой. Теперь неизбежен перегиб в другую сторону: ненависть к страданию, презрение к нему, укрепилось в современном сознании. Но самое противопоставление страдания счастливой полноте — верно ли оно? Страдание, острая душевная боль наряду с исступлением страсти, героизма выводит человека за его естественные грани, понуждает на непосильное ему. Сделать то, чего не можешь сделать, — но это же вместе с тем и есть рождение нового, прорыв из сегодня в завтра. Счастье, как бы полно оно ни было, всегда заодно с чувством самосохранения, всегда бережет, охраняет форму, не ему — сверх предела напрячь личность, вздернуть ее на дыбы... Не им, или не только им «самим прозябнет к жизни новой»...

Нащупывая злачную почву, где бы семени не заглохнуть, а прорасти, Аделаида тянется к шири русской песни, — от своего прежнего безъязычья не к изысканности новых поэтов обращается, а к речевой стихии народа. В начале делает это несмело, нескладно, мешая стили, но верно чуяв пути поэзии. В этом первые модернисты — Брюсов, Бальмонт — сами чуждые народности, не могли быть учителями, Вячеслава же Иванова и Блока она еще не знала, — вернее Блока как поэта еще не было. Наследие 80-х годов, бесплоднейший, надсоновский язык, вдруг наливается русским звуком, живым. Уже близко, вот-вот — ходит и плещет стихия.

Близко — а все еще что-то между.
Сосны зеленые,
Сосны несмелые
Там за песчаными
Дюнами белыми
— Сосны, вы слышите?
Море колышится...

На этом кончается тетрадь. Она дошла. Она дойдет. Родился поэт.

IV

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ

1.

По обыкновению я толковала ему « Кормчие звезды » Вяч. Иванова, а он, затягиваясь папиросой, то ли дразня меня, то ли чтобы длить эти уютные часы, повторял : « Нет не понимаю ».

А потом вдруг : « а вы знаете, что он теперь здесь, они с осени поселились в Петербурге... »

« На мое взволнованное : « Ах ! » — Хотите познакомиться с ним ? — Но как ? — Да хоть сейчас, сегодня. — Нет, не поздно. Нет, они очень простые, милые.

И вот в этот нежданный простой из простых вечер, я с Жуковским, издателем философских книг, поехала на Таврическую. Перед дверью, на самом верху многоэтажной лестницы, я оробела : Мой спутник посмеивался : — Не хотите — не надо. Я думал, вы храбрая.

Я позвонила.

Дверь открыл Вячеслав Иванов. В черной мягкой блузе, сутулый, в полумраке передней, освещенный со спины сквозь пушистые кольца волос, казался не то юношей, не то стариком. Так и осталось навсегда : ка-

кой-то поворот — слово — и перед тобой старческая мудрость или стариковское брюзжание, и через миг — окрыленность юности. Никогда — зрелый возраст. Они были одни с Лидией Дмитриевной Зиновьевой-Аннибал. Миновав длинную гостиную с геральдическими лилиями на обоях, сегодня полутемную, он ввел в соседнюю комнату красно-коричневую, жарко натопленную.

И без нащупывающих праздных фраз — разом — о близком им и близком мне. В них обоих необычная радость и открытость новому человеку: не брат ли, не единомышленник ли пришел? Протянут чашу сердца настежь... И это не нарушалось старомодно-учтивым тоном Вяч. Иванова (гостиные старушки Европы) или учительским, когда он допрашивал меня о моих пристрастиях в эллинской культуре. Ничего от декадентского стиля в обоих: даже небрежно разрисованное лицо Лидии Дм., бровь, криво сбегающая над огненными синими глазами и сколотый булавками красный хитон — скорее только знак дерзания, вызова общепринятой эстетике, только наивный манифест. И на стенах не изысканности Клингера или Бердслея, а простые образы стародавней красоты — камни Парфенона, фрески Секстины. Трудно воспроизвести тонус, ярко почувствованный 30 или больше лет назад. Лишь сейчас нащупываю, в чем было отличие Ивановых от всех людей нового искусства, которых я знала и которых не знала! все они (включая и до конца искренних, как Блок или Анненский), все они, большие ли, мелкие ли, пронзены болью, с трещинкой через все существо, с чертой трагизма и пресыщенности. А эти двое — Вяч. Ив. и Зиновьева-Аннибал — счастливы своей внутренней полнотой, как не бывают счастливы русские люди, как не бывали тогда, с придушенными декабрьскими днями позади. Не первого десятилетия 20 века — пришельцами большого, героического казались они, современниками Бетховена что ли. Я не хочу сказать, что им была чужда та рафинированность,

которая связала их с модернистским движением, нет, конечно. Но не этим определялся их духовный облик, не это в нем доминировало. По крайней мере в тот час большой творческой полноты, когда я узнала их. Полуденный час недолог. Но суметь хотя бы краткий срок так полно утверждать в духе и красоте, роднит не с ущербным веком — с великими всех времен.

В этот первый вечер они слились для меня в одном нераздельном впечатлении. Но вот я начинаю воспринимать их и порознь. Через день Вяч. Иванов пришел ко мне, к подруге моей, у которой я остановилась. Сидит в гостиной на ломком модном стулике как на жердочке. Речь необычная по глубине и изысканности замечаний. Обаятельный, но и немножко смешной, несовременный облик в этом сюртуке со свисающими фалдами. Уж не дедушкином ли? Позже я привыкла к тому, что у них все дедушкино: и доха, в которой зимой выезжал зябкий Вяч. Иванов, и обитая красным мебель, и старинное готическое кресло. Дедушка этот — отец Лидии Дм., доживал свой век у них в Женеве. И какой же уют давало призрачной «башне» все это дедово добро!

При дневном свете вижу почти ребяческую розовость лица Вяч. Ив., золотистая клинышком бородка, золотистые космы волос — все мягко, только за очками безбровый взгляд остр и зелен. Но не тогда, когда читает стихи — тогда затуманивается. Впервые слышу его чтение — певучее, чуть-чуть в нос, с католическим распевом. Стихи о солнце, о солнечности — одно, другое... Солнце — сердце. Сердце — солнце. Характерным для него жестом (иерейским) откидывает левую руку, ладонью к собеседнику.

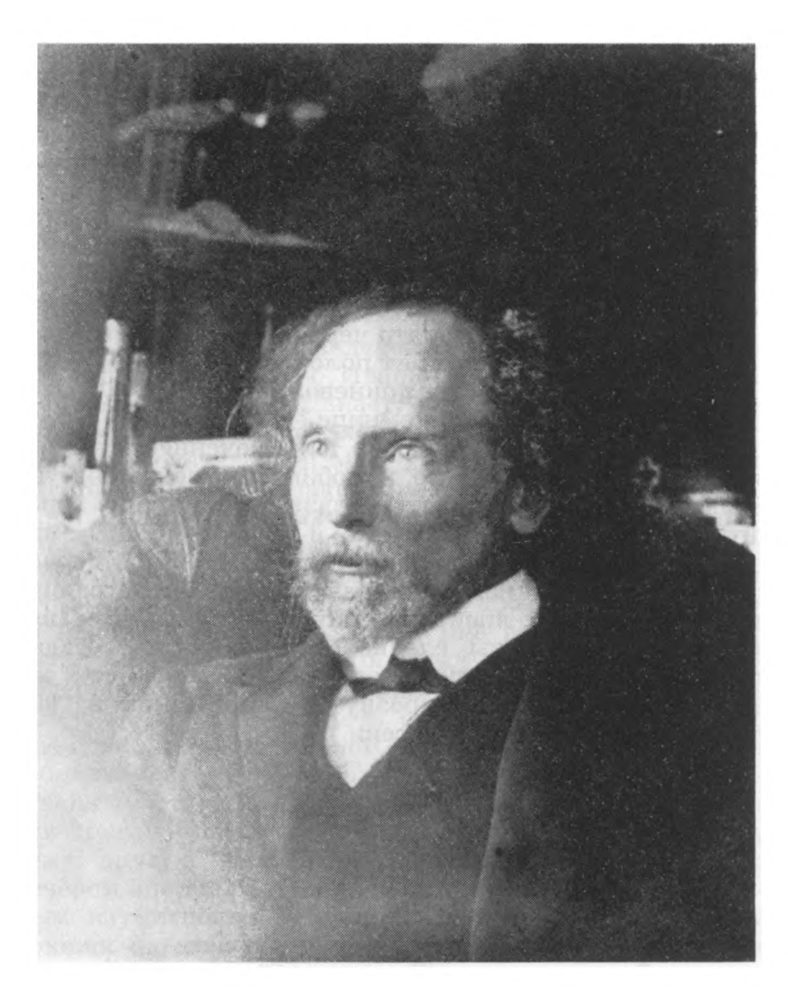
От себя я возгораюсь,
Из себя я простираюсь

Уподобься мне в распятье,
И гори, гори, гори!

Но как устоять в зените? Не неизбежен ли срыв? Сквозь слепящую лучистость и тогда уж до меня донесло ноту истомы и смуты.

В другой раз пришла ко мне Лидия Аннибал, сидела долго, немолчно говоря, и обо всем сразу; о детях, оставленных пока в Женеве, о своем прошлом и о новых, стремительно завязавшихся отношениях. Повесть о ее дерзкой молодости жадно запоминалась: забрав троих детей, она бежала от первого мужа за границу. С нею три девушки, не то прислуги, не то воспитанницы. Девушки не знали ни одного заграничного языка, садились вокруг нее на полу в итальянской отдельной комнате, пели русские песни. И среди них она — золотоволосая, жадная к жизни, щедрая. Такой она встретила узкоплечего немецкого школяра — мечтателя, втихомолку слагавшего странные стихи и взяла его, повлекла, поволокла. И вот — поэт Вячеслав Иванов. Так постепенно вставало передо мною их прошлое. На столе ваза с апельсинами. Непривычное петербургское солнце, скользящее с ее золотящейся курчавой головы (оба одной масти), легло на них — на тяжелые, горячие. Лидия Дм., играя ножичком, глотает дольки и говорит, говорит. Не тогда — теперь только слышу за ее безудержными излияниями тревогу, не знающую куда себя бросить. Отсюда и декадентские писания, рискованность ее жизненных выходок. Но как различны источники: у русского декадента чаще от опустошенности, от скудности крови, у нее — от разрывающего ее жизненного избытка.

Не зря я обмолвилась «русским декадентом». Ивановы русские — всеми кровями, ведь аннибаловская, смуглая, Пушкиным усыновленная России; Вяч. Иванович природный москвич, из кривеньких деревянных переулков. Но долгая эмиграция создала им другую предисторию, чем та, что была, скажем, у Бе-



Вячеслав Иванов

лого и Брюсова. В блужданиях — в пространстве и во времени — по Европе, по востоку, до капли избыли они русскую сумеречность, порастеряли связи с хилой русской журналистикой 90-х годов. Что им до ругани, которой Буренин встретил первых символистов? Но не в одних блужданиях дело — позади у Вяч. Ив. напряженно рабочая жизнь, закал труда, — ведь в молодости он, прирожденный лирик, больше был ученым и исследователем. Отсюда же от долгой оторванности и радость их русским встречам, родине, праздничное восприятие ее. Во всех стихах В.И. того периода о России, о Москве, звучит нота возврата, свидания после разлуки, сладостная и немножко отчужденная:

Посостарилось злато червонное,
Сердце сладко горит полоненное...
Вольное ль вновь приневолится
Сердце родимой темнице?

Как по-иному — глубоко, ожесточенней чувствовали в те годы свою землю, и любимую, и ненавидимую, Блок, Белый. Должно быть нельзя безнаказанно сбросить с плеч бремя. Освободив и окрылив В.И., эмиграция вместе с тем породила и пустоты в его творческом сознании. У него есть ряд стихов еще заграничных, связанных с японской войной — бледные славянофильские перепевы, сладковатая водичка на осадке когда-то крепкого московского зелья. Почти так же ненужно и отвлеченно прозвучали и отклики на 905 год, писанные им уже в России.

2.

...В кругу безумных, темнооких
Ты золотою встал главой.
  Слегка согбен, не стар, не молод,
  Весь — излученье тайных сил,
О, скольких душ пустынный холод
Своим ты холодом пронзил!

(Блок)

Искуситель для других — каким же он был искусителем для самого себя. Завывание Вакха, потрясение тирсом для него не пустая игра. Свидетельство этому его замечательный лирический цикл « Эрос ». Он вправду наколдовал себе виденье страшного и сладостного демона.

Облик стройный у порога...
Нет дыханья... света нет...
Полу-отрок, полу-птица
Под бровями туч зарница
Зыблет тусклый пересвет...

« Лирика — не развлечение, — сказал как-то в более поздние годы Вяч. Иванов, — тот, кто испытывал лирическое волнение, знает, что оно иссушает все силы, преследует, испепеляет ». И вправду, каким опустошенным показался он мне, когда я увидела его через год после первого знакомства. Осеннее дерево с ободранной ветром листвой. Даже кольца волос не пушились, а жалостно липли к вискам. Лидия Дмитриевна лежала в больнице, после операции. Среды отменены. Он скитался один по опустелым комнатам. Ухватился за меня. Не отрываясь читал мне все написанное им, читал « Ярь » Городецкого, тогда шумевшую в кругах модернистов — новое кряжистое знамя символизма. « Нет, вы должны увидеть его ». И на другой день ко мне с каким-то поручением зашел длинноногий студент с близко-близко, по-птичьи сидящими глазами и чувственным ртом. Мы постояли среди комнаты друг против друга — на что мне этот паренек — тронули одну тему, другую — я-то уж ему совсем ни на что ! Но вечером пришел ко мне Вяч. Иванов и с взволнованным изумлением : « Знаете, что он сказал ? Что вы похожи на меня, как сестра родная ». И вижу — уж заиграл хмель. « Сестра ! » Я не видела между нами физического сходства, но вот эту беспреградность, как с кровно близким и в то же время странно волнующую,

почувствовала с первой встречи. Непонятны иногда родственные сближения. Помню, когда позднее, познакомилась с В. И. моя мачеха, недавно потерявшая любимого мужа, она в слезах, взволнованная вышла из комнаты: так он напомнил ей моего отца — не чертами лица, а чем-то неисследимым — движением руки с папиросой, наклоном головы, ритмом дыхания... Вяч. Ив. нередко говорил мне, что я понимаю его с полуслова и до глубины, не мыслью, а инстинктом, — говорил это с умиленной благодарностью, а то и с гневом, потому, что находил во мне только зеркальность, только двойника своего, а не ту другую силу, родную, но перечащую, о которую выпрямились бы прихотливо разбегающиеся волны его мысли. Я же теряла себя в нем.

— Где же вы, sorellina? [1]) — с ласковым укором — что вы таете у меня лунным туманом?

Не было у него для меня другого имени, как сестра, sorella. Так случайно этот, на миг зашедший ко мне Городецкий, побратал нас накрепко и надолго. Зыбок круг нашего братства — разбивая и мутя его, временами врывалась и страсть, и чувственность, и вражда, но самая глубокая в нем нота была сестра.

...и вот — Сестра.
Не знал я сестры светлоокой;
Но то, то была — Сестра.

И нити клуб волокнистый
Воздушней чем может спрясти
Луна из мглы волокнистой, —
Дала и шепнула «прости!»

---

1) Е.К. Герцык была близким другом В.И. особенно в годы 1906-1909. В.И. звал её «сестра» — sorella. (прим. О.А. Шор.)

В даль тихо плывущих чертогов
Уводит светлая нить —
Та нить, что у тайных порогов
Сестра мне дала хранить.
(Песни из Лабиринта)

Пусть это миф. А явь — как часто безобразна, жестока, слепа, жалка. Но правда — миф сердца, а не уплывающий бред дней.

Таков итог наших переменчивых на протяжении лет отношений. Но сперва шло радостное настроение. В первый раз привести к нему сестру мою, глядеть, как он слушает ее стихи, слушать, как он толкует их, и в них — ее, и через нее — меня. От встречи до встречи открывать, что этот человек для других непонятнейший и жуткий, мне — всех ближе, всех проще... Это было перед расставанием весною 907 года — недолгие горячие дни сближения нас четверых — Ивановых обоих и нас, сестер. Казалось, им опостылели декадентски-оргиастические вихри, крутившие на их средах. « Ох, уж эти мне декаденты с Апраксина рынка ! » — мотая головой говорила Зиновьева-Аннибал. Она обожглась, она устала. Повлеклись к работе. Затевали с осени издание журнала — художественно-философского органа символизма, отмежевываясь от эстетствующих « Весов ». И « Московские сестры » должны были участвовать и в творческой, и в технической работе. Нехотя отпускали нас. « Смотрите, не засиживайтесь в своем Крыму ». Так мы расстались.

3.

...На мокрой платформе под низко нависшим небом, мы ждем. Медленно подплывает товарный вагон. И — гроб. В 20-х числах октября, вернувшись в Моск-

ву из Крыма, мы застали телеграмму Вячеслава Иванова о кончине Лидии Дмитриевны. Они проводили лето в деревне Могилевской губ. Осенью, заразившись скарлатиной, она сгорела в несколько дней. Через два дня мы в Петербурге. К Вяч. Ив. жмутся две очень белокурые девочки. Поодаль чинная и высокородная родня — Зиновьевы. Ближе, теснее, непритворно угнетенные лица — Блок, Кузьмин, Чулков и многие, которых не знаю. Сотрясаясь, как мальчик, рыдает Городецкий. На лицах: вот, вот она сумела первая сбросить эту накрашенную личину. Я вспоминаю ее весеннее, решительное: « не хочу больше ». А она была так счастлива в это лето. Родина, и снова дети с нею, и новый расцвет близости между нею и Вяч. Ив.

...все, чем сердце обманулось,
Улыбнулось сердцу вновь.
Небо, нива и любовь.

В тот же вечер, насильно зазвав нас к себе, Вяч. Ив. читал нам последние страницы ее дневника. Весь трепеща пересказывал ее последние слова (текстуально внесенные им позднее в ей посвященные каноны), говорил о той близости, которую они испытали на краю, на обрыве, когда ее уже отрывало, относило от него...

Как он переживает? с болью спрашивала я себя. И спрашиваю себя теперь: как пережил бы он, как преодолел бы, иначе ли? — не будь другой воли, в те дни овладевшей его волей. Анна Рудольфовна Минцлова [1]). Теософка, мистик, изнутри сотрясаемая хаосом душевных сил: она невесть откуда появлялась там, где назревала трагедия, грозила катастрофа. Летучей мышью, бесшумно шмыгает в дом, в ум, в сердце — и останется.

---

1) Дальше зачеркнуто. « Странная женщина судьбы доброй или недоброй, вкравшейся в жизнь не одного только Иванова.

С копной тускло-рыжих волос, безвозрастная, грузная, с астмической одышкой, всегда в черном платье, пропитанном пряным запахом небывалых каких-то духов, а глаза, глаза! — близоруко-выпуклые, но когда загорались, то каким-то алмазным режущим блеском. Незваная пришла к Вячеславу Иванову, своей мягкой, всегда очень горячей рукой обхватила его руку, зашептала: « она здесь, она близко, не надо отчаяния, она слышит, вы услышите... » Пришла и уж не ушла из башни. Поселилась.

— Не грустите, sorella, увещевал он меня, не бунтуйте. Это будет не век. Но я должен, должен узнать все, что она может открыть мне. Теперь мне только нужен покой. Помогите же мне, отстраняйте, все, что нарушает его...

И то же шептала мне она, обдавая меня не по-людски горячим дыханием:

— Вы ему всех ближе. Берегите этот драгоценный, этот хрупкий дух. Охраняйте его.

Я то подчинялась, то бунтовала, бродила в потемках, ища правды для себя, для него, мучимая примесью лжи, которую внутренне изобличала. Но ведь богатство новых идей, новые прекрасные стихи налицо, ведь она не убивает в нем творчества. Живет затворником. Раньше всем гостеприимно открытая башня — за семью засовами. Посторонним, желающим видеть Вяч. Ив., после долгих переговоров скупо отмеривается час, вечер. Кузьмин живет в башне в далекой комнате, неслышно приходит, уходит. Прозвище его l'abbé de la Tour. Иногда зайдет в гостиную, присядет к маленькой ветхой фисгармонии, наигрывает католические секстеты XVII в. и — исчезает (мушка на щеке, напудренная маска, огромность глаз) — на вечер нового искусства, в кабаре « Бродячей собаки »... Тушится лампа, зажигают свечи в бра на стенах, — В. И-ч любит их теплый медовый свет, Минцлова за роялем — и поток бетховенских сонат. Не соблюдая счета, перемахивая через трудности, но с огнем, с убедитель-

ностью. В.И. неслышно ходит взад и вперед по большому ковру, присаживается ко мне, шепотом делится поправкой в последнем сонете, на клочке бумаги пишет опьяняющие меня слова... В третьем часу ночи я ухожу; длинная гулкая лестница, с чувством неловкости звоню к важному барственному швейцару (« как такому на чай ? »). Наконец, на пустынной ночной улице. Вздох облегчения. Пешком ? Извозчик дремлет у подъезда. И знаю, что еще до света они будут шептаться, она его будет водить по грани, то насильственно волочить к ней, то ограждать, запеленывать...

Было тогда время увлечения оккультизмом в кругах модернистов. Брюсов с научной методичностью врезается в толщи средневековой магии — памятник, его роман « Огненный ангел ». Сколько их ютилось по закоулкам тогдашней жизни — маленьких магов и астрологов ! Стихи запестрели заклинательными именами духов и дьяволов. Вячеславу Иванову весь этот астрологический реквизит остался чужд. В руках его я никогда не видела книгу по магии. Строгость ли его филологической эрудиции отвращала его от них или подлинно религиозное отношение к стихии слова противилось в нем словесной мешанине оккультных писаний ? И вот все, что он узнал из области тайноведения пришло к нему через Минцлову, живое воплощение тех пьяных богов вакханок, которых изобразил Еврипид; и образ которых влек Вяч. Иванова. Вот она, насмерть испуганная птица бьется у него под рукой... [1]).

Может быть выдержка из письма Аделаиды тогдашними взволнованными словами лучше передаст, чем дышал тогда Вяч. Ив.

« ...А вчера был страшный вечер. Вячеслав увел

---

1) Дальше вычеркнуто : Не раз говорил он мне, что были минуты, когда всего шаг отделял ее от сумасшествия : « Надо это помнить и жалеть ее. Ведь только так, видя лица вокруг и держась за меня, она на миг живет как все, а оставшись одна опять вся трепещет и не во власти своей ».

меня к себе. Душная маленькая комнатка. Каменное, как изваяние лицо Анны Рудольфовны с невидящими глазами. Он хотел, он властно требовал, чтобы она открыла мне о смерти, о жизни. Сначала он сам говорил о расцвете после смерти, о слиянии — единственном настоящем — нетленного с тленным... А дальше я сам только ученик и А. Р. скажет вам то, что надо, чтобы вы знали »...

И он сел у ее ног, прижался к ней весь, и она — холодная, огненная, как мрамор белая, острым шепотом стала говорить. Она так дрожала вся, что это передалось мне. Но я ничего не слышала от волнения, а она старалась и не могла повысить голос, — тогда Вячеслав стал записывать под ее диктовку отрывочные слова, взглядывая на нее, спрашивая. Я сидела и ждала. Голова как в тумане. Потом он дал мне лист, и я читала. Он принес стихи свои о том же и пояснял их. Потом зоркими вопросами они (больше он) стали узнавать мою душу, сферы открытые ей. Самыми бедными словами, неукрашенными отвечала я, заботясь только, чтобы была одна правда. И как темна и убога казалась я сама себе. Не знаю, поняли ли они... Но Вяч. сказал (говорил он, но все время спрашивая ее), что « миссия моя — любовь, чистая, не хотящая для себя ». Сказал, что я не должна учить никого, умствовать, — только « благовествовать о любви и смерти и гореть огнем, который зажегся во мне... Наконец, Вяч. ушел, и мы еще побыли вдвоем, но я ничего уж не воспринимала — слабость была у меня как после обморока ».

Приведенные Аделаидой слова Вячеслава Иванова и стихи его, в которых он, как Данте за Беатриче, рвется следом за умершей, как будто говорят о том, что горе, пережитое им и общение с оккультисткой Минцловой, оторвали его от реальной земной почвы. Но это не так. Вся внутренняя работа этого года, кризис, глубоко пережитый им, наоборот ломал и истреблял в нем остатки идеалистического платонизма

и крепил присущий ему, но раньше бледный, расплывчатый, монизм. Проще, конкретней скажу, что все соблазны бегства из мира, соблазны духослышания лишь утвердили его в том, что за утраченной любовью некуда гнаться в постустроннее, что настигаешь ее здесь, в своей душе и на родимой, вечно обновляющейся земле.

На черновиках своих стихов (обычно писавшихся в полудремотные утренние часы в постели) В. И. нередко записывал где-нибудь вкось, на уголке изречения, подсказанные ему ночной грезой.

Помню такие : Laudata sia la morte per sua fidelta alla terre, или Vis eius integra si versa fuerit in terram. (Видно и ночные духи с ним, эрудитом, беседовали на иноземных языках).

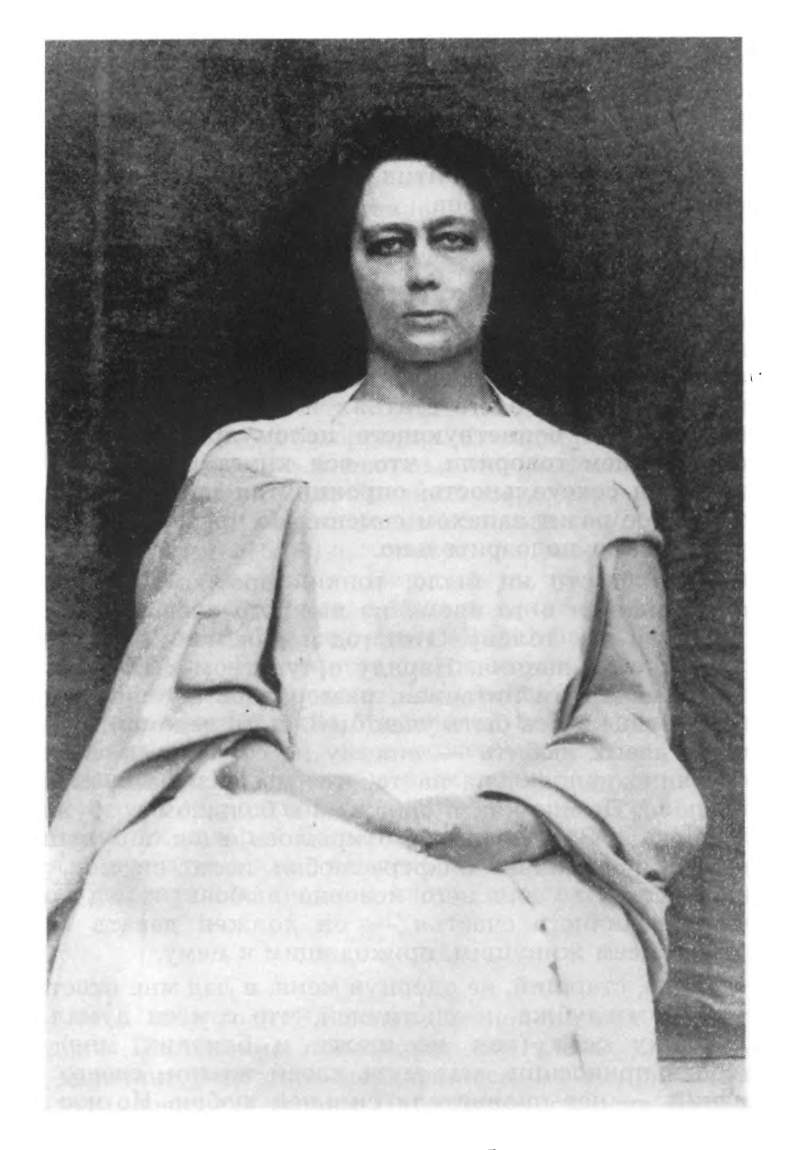
И земля для него не только эта вот, колосящаяся и вновь и вновь весенняя, но и обитель человеческая — будущих преображенных человеческих обществ. Верность земле, как семя в плоде, включает и любовь к грядущему, веру в него.

Сила твоя осуществится лишь обратясь к земле.

Вячеслав Иванов этого периода очень отличается от того, каким был еще год назад : голос его крепче, мысль зорче, на место прежней созерцательности или вакхической одержимости — волевая установка. Случайные встречи и разговоры с ним прежних гостей его сред вызывают в них потрясающее впечатление. Сошлюсь на Брюсова, всегда трезвого в своих суждениях. В письме к матери 1 апр. 1908 г.

« А вот кого я опять понял — это Вяч. Иванова. Перед его отъездом в Москву мы говорили долго и откровенно. Он совсем уж перестает быть человеком и начинает походить на ангела, до такой степени все понимает и сияет большой внутренней и светлой силой ».

В 1001 ночи говорится : был он прекрасен, как опьяненный ангел. Думается мне, и В. И. в то время тоже походил на опьяненного ангела. Поворот к земле,



Л. Зиновьева-Аннибал

о котором я говорила, на первых порах принимает у него форму исступленного культа женского начала. Оно заливает все в мире, утверждается как женское единобожие, как стихия, в которой сладость потонуть. И гибель древних Атлантид, и смерть — только маска, за которой мерцает она.

« Познай меня, как пела смерть, я Страсть » (Cor ardens).

Историк — он листает ученые труды, ловит глухие указания на древний матриархат, грезит о новых формах его, о женщинах — жрецах будущего... Как ил от схлынувшего половодья я сейчас нахожу следы этих настроений в его статьях и лирике 1908 года. Я знала людей воинствующего целомудрия, которые с негодованием говорили, что вся книга Cor ardens — сплошная сексуальность, опрокинутая на сферу духа, что от нее разит запахом семени. Но чрезмерное целомудрие само подозрительно.

Как бы то ни было, тонкий эротизм, и впрямь излучавшийся в то время из каждого слова Вяч. Ив., кружил и мне голову. Этот год и для меня был годом духовного опьянения. Наряду с чувством к Вяч. Ив. и даже именно им питаемая, разгоралась во мне и другая любовь : здесь быть ученицей, быть ведомой, там — вести; двоих любить — никому не отдаваться. Мысль постоянно направлена на то, что мы называли мистикой пола. Помню как я однажды в большом возбуждении писала В. И., что мне открылось к а к в будущем сложится его жизнь в сфере любви, пола : он, мол, уж так высок, что для него неверна любовь к о д н о й, искание личного счастья — он должен давать свою любовь всем живущим, приходящим к нему.

И он, старший, не одернув меня, в лад мне ответил, что это и глубже, и мистичней, что сам он думал. Я не щажу себя (как не щажу и близких мне). В любовь приносишь всю муть своей жизни, своего сознания, — нет проявителя сильней любви. Но что же — все постыднейшие заблуждения, если их достра-

даешь до конца, могут стать камушками, ступенями, взбираясь по которым, человек и вправду очищается.

Мысли, владевшие тогда Вячеславом Ивановым, пробудили в нем интерес к хлыстовству, пьяному тем же вином духа. Насколько мне помнится, Пришвин, сам в то время увлеченный сектантством, повез его к хлыстовской богородице. Обставленная тайной поездка на тройке куда-то за Петербург в глухие, дальние пригороды. В маленьком мещанском домике состоялась у В. И. с нею долгая беседа. А через несколько дней он читал публичную лекцию о «Древнем Ужасе», и среди привычной модернистской публики в первых рядах сидела женщина, молодая еще, с красивыми строгими чертами, с головы до пят укутанная черной шалью. Это и была хлыстовская богородица. С жадным любопытством оглядывала я ее и впервые не утерпела — спросила, не мешает ли ее пониманию множество греческих имен, цитат? Она повела очень красным кончиком языка по тонким губам и, глянув на меня немножко насмешливо, ответила: «Нет, что ж, понятно: имена разные, и слова разные, а правда одна». Я не помню, встречался ли В.И. с нею еще. Может быть она ему и не нужна была. В то время он уж побеждал в себе это упоение стихией женского. Да и всегдашняя близость душевного хаоса в лице Минцловой побуждала его самого быть собранней, настороженней. Рядом с нею, обуздывая ее, он строил и раскрывал свою мысль. Повторялся стародавний феномен (тот же, что и у таинственных алтарей Дельф): ее была только потрясенность, экстатическое, нечленораздельное бормотание, а истолкователем, творцом слова, смысла был он.

4.

Лето 1908 года Вячеслав Иванов провел у нас в Судаке. Постепенно приезжали все члены его семьи — девочки, радостно вырвавшиеся из непривычной им, замурованной жизни Петербурга, сбросив башма-

ки, босиком бегали по винограднику, копались в огороде. Всегда хлопотливая Замятина, преданный друг семьи. И Минцлова. Последним приехал он. Комната с балконом — мезонин нашего старого дома — там поместили мы его. Опять астрологом на башне, куда вела витая лесенка.

Вяч. Иванов никогда не бывал в Крыму, все волновало его здесь отголоском Италии, томило печальным напоминанием: кипарисы под его балконом, доносимые ветерком южные запахи. Но идти по этой новой и не новой ему земле у него не было охоты. Или он уже отходил свое — знаю, что когда-то он излазил даже скалы Корнвалиса над океаном... С трудом удавалось нам и девочкам зазвать его к морю или знойным утром в виноградник, а куда-нибудь дальше в горы — уж никак не пешком, а только на старенькой тряской нашей линейке. Скользит вокруг рассеянным, невидящим взглядом, не примечает деталей. Между тем в его стихах, где ему случается говорить о природном, о растительном мире, мы не встретим ни одного условного образа — каждый — заметка памяти, свидетель пристального вглядывания. Приведу пример. Есть порода дубов, которая не теряет листвы не только зимою, но вплоть до июня.

« В бронзовой дремлет броне
под бреями бурными зиму ».
Но вот весна :
« Черную ветвь разгляди :
под металлом скорченных листьев
Ржавой смеется тюрьме
нежный и детский побег ».

Гекзаметр этот точен как параграф описательной ботаники. Но нынче взгляд его обращен только вовнутрь. Ходит и ходит Вяч. Иванов по тесной своей комнате, по балкону, вниз спускается почти только для общих трапез, выхаживает свое новое миросозер-

цание. Иногда я сейчас же после разговора с ним, или прослушав поток его импровизаций, записывала его слова. Те, кому знакомы его статьи, может быть узнают здесь его мысли у самого их истока, еще не остывшими.

« Я : отчего вы молчали всю дорогу из Кизильташа *), и смотрели на звезды? Что вы думали? — Fieri debet est, esse debet quod non est. В том благость сущего, что оно становится, проходит свой круг восхода, полдня... и не надо страшиться черных бездн по ту сторону нашей звездной вселенной. Широки врата космического — все несущее хлынет в сущее. Все жажды, все воли будут утолены. Только не нужно скупым сердцем ставить препоны, текущим все новым водам сущего — велика тоска сердца от того,что все прибывает жизнь. Нужно снести, разорваться, но снести. Учение о Боге есть только учение о бытии. Много обителей в доме Отца Моего ».

« А ведь опять настал век эпический, век романа. Давайте, sorella, писать романы. И не так, как пишет наша братия, модернисты : неспешные, обстоятельные, в пять томов, с описанием обстановки дома на пятидесяти страницах. И без прорезов в вечность. Надо опять закрыть глаза, не раскрывать их чересчур на трагическое : последней борьбе еще не время. Поэтому трагедия нынче не индивидуальная, а хоровая. Нет сейчас личных трагических конфликтов. Трагическая проблема нашего времени в том, как снести; не бунт мощного духа « один против всех », а избыток непосильный для душ нежадных : как снести, что все дано, все будет, и все будут. Непонятно, sorellina? »

« Свободным может быть лишь тот, кто других освобождает. Ложь — свободолюбие одиноких байро-

---

*) Горный монастырь.

нических героев. Свободный синоним освободителя. Для себя одного нельзя быть свободным.

Освобождать, искупать нельзя отдельные души — можно только искупать все, весь мир. Великая суета думать, что можно спасти ближнего, — спасешь его походя, целясь на другое. В исключительных случаях Wahlverwandtschaft можно спасти одну душу — но только потому, что за нее даешь всю своюдушу. Да и то...»

« Вячеслав говорил о двух обратных направлениях — или двух сферах — добра (бытия, Бога) и зла. Добро на начальных ступенях (или на периферии сферы) solutio (разреженность, рассеяние), потому начально оно всегда свобода, легкость, оно почти безвидно. Далее же, выше, оно, подобно девяти ангельским степеням, устремленно, свободой своей избирает свою необходимость. Высшее в добре, в центре Дантова рая — coagulatio спаянность, сгущенность, там действует центростремительная сила, которая все, что любовь, что добро, бытие, спаивает в одной точке. Наибольшее coagulatio, бытие в энной степени — высшая красота. — Обратно в зле : там на первых ступенях, на периферии — coagulatio (потому что эта сфера подчинена закону центробежному, гонит все во вне) — сгущенные яркие образы; вместо свободы — « прелесть », красота. Далее, глубже убывает сгущенность, рассеивается красота. В центре, из которого центробежная сила гонит все — ничего, мрак, провал ».

« ...Гете — мещанин, вырос из семечка, вверх тянется, совершенствуется, не божественный огненный дух, как Байрон. Одни, как Гете, измеряются по тому, куда они дойдут, другие — по тому, откуда они вышли. Христа тоже спрашивали, не куда он идет, а откуда он. Байрон хром и прекрасен, и нельзя нам его понять, он упал откуда-то. Другие, такие же как он сыны неба,

рано уходят, как падучие звезды, Новалис, seraphitus. Вся судьба их обычно — грозное низвержение, потому прекрасно. Конечно, жизнь Байрона безобразна — он не знал любви; и поэзия его, по правде говоря, немногого стоит, в ней и тени пушкинской красоты нет. Но я не люблю красоту. Мне не нужна красота. А греки — их вообще понять нельзя — Эсхила и других.

Обманчивая близость формы, и навеки чуждая за ними психология. Лгут те, кто их понимает. А зачем читать Гомера? Одно притворство. Говорят « священная соль » и восхищаются, — так ведь для грека это звучало совсем по-другому. Сырое кровяное мясо, чуть-что не людоедство — быт их, и дикое однообразное чтение гекзаметра... Древних надо забывать, а археологи раскапывают, сохраняют. Археология — хула на Диониса, она чтит гроба, не любит воскресения: не дай Бог попортят саркофаг! Надо разрушать — вот завет Диониса. Даже стихи писать — низкая бережливость, не лучше коллекционерства. И « верность земле » не то слово. Утверди только его, провозгласи — сейчас же и тут соберется вся мерзость как около гоголевского забора. Еще меньшее. Сердцу быть верным... ».

Записываю в дневнике :

« Из всего возникает спор и осуждение Анны Рудольфовны. Сегодня, когда мы засиделись на балконе после обеда, он говорил : Мечта о социализме, о более справедливом устроении человечества одна дает право нам прислушаться к гулу в душе Великого Колокола. Только когда будет для всех путь к хлебу и правде его — мы, немногие, сможем сплотиться в братство « Гостей земли », взять пожаром... Не раньше. Пока они не хозяева — мы не « гости ». Нужно честно взглянуть в глаза экономическому материализму в истории и признать, что все совершается, большие линии истории перестраиваются в силу смены экономических условий — культура рабства, феодальная, капиталистическая и т. д. Этот слой, облекающий зем-

лю, этот humus почти не подлежит воздействию духа... »

Анна Руд. с потемневшим, отяжелевшим лицом повторяет, что ей ненавистны соц. демократы. Она любит черный бархатный отряд « бессмертных », у которых вышиты серебром черепа и кости и от вида которых (она конфиденциально шепчет) « императрица » упала в обморок. О какой бы она была Крюднер в другой век! А сейчас за ужином среди нас, нелепо молчащих, Вячеслав ей : « Отчего вы никогда не любили и не отдались мужчине? И зачем вы другому позволяете то, чего сами не захотели? Теософия все позволяет, все терпит : любовь, искусство, страсти, немного презирая все это и тех, кто еще нуждается в этом ».

А. Р. возражала, колыхаясь, оскорбляясь, не понимая, что это в нем самом эта борьба... Вячеслав пуще нападать. А. Р. в слезах ушла. После этого опять бесконечная беседа у него с нею, и я слышала рядом в ее комнате шаги, взволнованные голоса, а сама лежала в тишине, благословляя в нем эту борьбу « пусть сам, один доборется ». А радостно бьющееся сердце все тише, все нерадостней билось. Он зашел проститься усталый, догоревший. « Приласкайте, sorellina. Тоскую смертельно. Только с вами »... Всегда там, за стеной, и гнев, и напор воли. Зачем я всегда только понимаю, только отзвучна, зачем? И боль, боль ».

Эти долгие месяцы отъединения от литературных кругов, эта напряженная внутренняя перестройка без разрядки, той, которую дает широкое общение, сделали Вячеслава Иванова болезненно-чувствительным ко всем прикосновениям извне. От любопытствующих соседей, донимавших его приглашениями, он — обычно старомодно-учтивый — почти грубо отмахивался. Молодой графине, которая оборвав воланы, своевольно вбежала к нему наверх, с требованием стихов в альбом,

пытался написать дерзкое восьмистишие — да так и не осилил: не мастер на это.

Столкновения возникали и внутри нашего тесного круга. У нас гостил шестнадцатилетний брат, дружививший с моим братом. Как-то мы все вскарабкались на скалу с развалинами генуэзской крепости. На верхушке ее, свисая над отвесным обрывом — «Девичья башня» с часовней, вернее фрагментом закругленной абсиды с чуть видными на ней следами древней росписи. Мальчики, взобравшись на стену, широко размахивая и вызывая в нас ужас, кидали камни в море. Один из камней, брошенных двоюродным братом, ударился о стену абсиды. Вячеслав Иванов, увидев это, вознегодовал и после мальчишеского с верха стены: «Ну, что за беда! И еще раз кину...» — с непривычной быстротой убежал домой. Приказ вспугнутым девочкам и всегда покорной Замятиной — немедленно укладываться, послать за извозчиком. «Я не могу оставаться в доме, где поносится Богоматерь». Мы с сестрой избегались к нему по лесенке — заверяли, что не видно там и следа Богоматери, что это не нарочно; взбегали в мезонин над кухней к разволнованным мальчикам. Мальчуган гордо: «Нет, я уеду, я!» Обед стыл на террасе. Позже Вяч. Иванович целовал руки моей мачехи, до слез оскорбленной, сам в слезах. Умиление, примиренье.

5.

Осень. Только когда они все уехали, я поняла, как я устала. Но не успела я вздохнуть судакской осенней тишиной — письма, телеграммы, торопящие мой приезд. На башне меня ждала оранжевая комната с широкими окнами под самым потолком (только небо), с работой на столе: разбор рукописей Лидии Аннибал. Здесь я прожила зиму монастырского затвора, искуса. Я говорю о затворе в смысле внутренней жизни своей, потому что внешние двери дома раскрылись, стало

людно. Конечно, ничего похожего на прежние среды, ни свистящих шелками актрис, ни модернистской богемы. Ученики приходили к метру, подобие литературных семинаров, непроизвольно, возникало из просмотра нового стихотворного сборника, из оскудения новой театральной постановки. Каждый вечер студенты Модест Гофман, Ивойлов, изредка Гумилев, Ахматова, совсем юные, ставшие впоследствии поэтами, или так и не ставшие, а также и уже несомненные, как Верховский и другие.

Однажды бабушка привела внука на суд к Вячеславу Иванову, и мы очень веселились на эту поэтову бабушку и на самого мальчика Мандельштама, читавшего четкие фарфоровые стихи. Щедрость Вячеслава Ивановича в выслушивании и углублении чужого творчества была изумительна. Детальнейший технический разбор неприметно переходил в грозное испытание совести молодого автора, в смысле философском, общественном. Мастер слова, влюбленный в тончайшие оттенки его, внезапно оборачивался моралистом. Это не всем было по нутру. Помню, как я единственный раз видела Анненского у В. И. — два метра, два поздних александрийца вели изысканнейший диалог, — мы кругом молчали : в кружево такой беседы не вставишь простого слова. Но Анненский за александризмом расслышал другое : высокий застегнутый на все пуговицы, внешне чиновный, он с раздражением, подергиваясь одной стороной лица, сказал : « Но с вами же нельзя говорить, Вячеслав Иванович, вы со всех сторон обставлены святынями, к которым не подступись ! » У обоих были свои потаенные святыни, но ими они не соприкоснулись. Вскоре Вяч. Ив. писал Анненскому :

Зачем у кельи ты подслушал,
Как сирый молится поэт,
И святотатственно запрет
Стыдливой пустыни нарушил ?

В тот год зародилась литературная группа « Аполлона ». В отдельности ценя некоторых из молодых поэтов, будущих акмеистов, Вяч. Иванов яростно нападал на эстетствующий дух кружка. Споры с представителями « Весов », в особенности когда приезжал из Москвы Андрей Белый. Помню одно его посещение, разговор между ними, затянувшийся до утра, горящие глаза всегда трепетного и вызывавшего какую-то жалостливую нежность Бориса Николаевича. Он то негодующе вскакивал, защищая свои и своих позиции, то, прижимая руки к груди, будто каялся, отдавался. Против воли побеждало влечение к Вяч. Иванову, чем-то, может быть экстатичностью своей, близкому ему. Когда мы под утро прощались с ним, он повторял ему : « Я ваш, весь ваш, мы завтра договорим, я приду... »

Закрыв за ним дверь, Вяч. Иванов, посмеиваясь, сказал : « Посмотрите, он теперь много месяцев глаз не покажет ». Так оно и было. Захожу к В. Ивановичу на другое утро — утро у него, это три-четыре часа дня — ходит по кабинету, зябко кутаясь в плащ и фантазирует : « У каждого за плечами звери как у евангелистов — по два. У меня — орел и вол. Иоаннов орел парит, а вол (филолог) тянет плуг. И тени их : тень орла — земля, тень вола — козел, похотливый и бездельный. У Лидии было величаво : орел и лев, рыкающий, кидающийся. А у нашего Белого — лев и тень его заяц — чаще тень, чем лев. Но и лев. И — человек ».

Я. — А тень человека ?

— У человека нет тени. Это идеализм, иллюзионизм, призрачность, всегда подстерегающая « человечески то, что оторвалось от природных корней ».

Евангелие наводит его на неожиданные сопоставления, на мысли будто и не евангельские. Но постоянно вижу его с потрепанной черной книжечкой в руках. Говорит : « Евангелие еще не прочитано. Столько про-

тиворечивых слов! Только сгорая сердцем постепенно зажигаешь слово за словом...»

В этот год сложились религиозные верования Вячеслава Иванова. И навсегда. В его христианстве не было ничего конфессионального, — оно было его, из глубины его опыта рожденное, и как бы он ни определял себя впоследствии — еретиком-гностиком, католиком — только это простое зерно вправду сращено было с его духом. Он не раз со свойственным ему глубокомыслием излагал в статьях свои религиозные идеи. Но что они, если перевести их на простой и неподкупный язык наших дней?

Само бытие, неисчерпанность, полнота его — это для него Бог, это Отец. Ведь чем, как не мерой почитания, благоговения познается Бог? А по отношению к нему, что Вячеслав Иванов называет «благостью космоса», никогда не бывало у него бунта, сомнения, — его природа органически религиозная. Но человек в своем отъединении забывает, теряет связь с целым: вихри страсти крутят его, его носит по волнам, он тонет, гибнет, и хотя мир над ним и бежит, но покуда сам он не станет Сыном, не может протянуться спасительная между ним и Отцом нить. И вот быть может на последней гибельной грани — в человеке родится Сын, Христос, луч света, от света всемирного зажженный. Сын, Люцифер в первоначальном значении не мятежного духа, а светоносца. — Я сжимаю в сухую схему то, что в поэзии В. И., в его философии дышит и цветет многокрасочно, что пережито им и в личном опыте, так как кому, как не ему, грозило — и неоднократно — потонуть в дионисийском хаосе. На эту схему опирается он в своих суждениях и приговорах. Записаны у меня слова его о Пушкине. «Кто говорит, что Пушкин атеист? Он благочестив как правоверный мусульманин. Кому другому так близок дух Корана? Недаром он бросил Ершову гениальную строчку: «Против неба на земле жил мужик в своем селе». Земля против неба. Ведь это же дух пустыни, Ара-

вии ! Нет, в том его грех негрский, что он только еговист, без люциферианства, без пути к Христу... Отсюда вина его перед женщиной, непросветленность отношения к ней ».

В эту зиму Вяч. Иванов стал деятельным участником религиозно-философского общества. Вместе с Мережковским и группой священников основал в Обществе « христианскую секцию ». Собрания ее были тесней, интимней, — сюда шли только те, для кого евангелие уже было бесспорной основой. Собирались на Васильевском, кажется в каких-то закоулках Университета : помню тесные комнатки и в витринах под стеклом коллекции минералов. Как ни узок был кружок, единства в нем не было.Что могло быть общего между исторической демагогией Мережковского, осторожными батюшками и чересчур тонкой мыслью Вяч. Иванова ? Каждый говорил свое. И со слушателями не образовывался контакт. Это было бесплодным делом, как и многие общественные начинания тех лет.

Помню среди других доклад В. Иванова « Земля и евангелие » и в нем толкование главы VIII от Иоанна. К Христу привели женщину, взятую в прелюбодеянии, и, испытывая Его, требовали от Него суда над нею. « Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом по земле, не обращая на них внимания ». Этот жест Вяч. Иванов толковал так : в земле вписана страстная судьба человека и неразрешима она в отрыве от земли, неподсудна другому суду. Но это тайное; Христос, подняв голову, сказал иначе внешним, экзотерическим словом : « кто из вас без греха — пусть первый бросит в нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле ».

Христианство в истолковании Вяч. Иванова было тем откровением, которое я давно ждала. Замыкаясь в своей оранжевой комнате, со всей страстью новообращенной пересматриваю, казню все свое прошлое — скептическое, не знавшее Бога, не знавшее добра и зла, не прожженное единством. Хочу совершенствования.

Рвусь ввысь. И Вяч. Иванов больше чем когда-либо мой учитель, мой старший, ведущий брат. Но рядом с этим неуклонно нарастает тяжесть от общения с ним и окружением его. Мне становится все душнее в этом кольце поклонения, в создании которого я, может быть, повинна больше других. Морализм гнетет меня, привыкшую к внутренней свободе, — то и дело изрекается приговор человеку, явлению какому-нибудь: то-то и то-то « не право » — слово это отголосок дионисийской формулы, « правое и неправое безумие ». И по всей башне прокатывается « не право », и все с осуждением смотрят на того, кто почему-то вызвал негодование Вяч. Иванова. Заражаюсь и я, но тотчас же возмущенно бунтую, начинаю ненавидеть это мудрое греческое « неправо ». Все острее чувствую, что свободной быть около него, так вдохновенно говорящего о свободе, нельзя.

Вячеславу Иванову была особенно близка та идея, что мир страданием красен и что жрец и жертва — одно, — идея, роднившая его с мистериальной Грецией. Припоминаю, как по его словам был он потрясен, увидев на улицах Баку шествие членов какой-то суфитской секты: они шли, нанося себе в грудь удары кинжалом и обливаясь кровью! Въяве видение древнего оргиазма! И вот в жизненном быту его эта идея, как бы становясь пародией, гримасой на себя самое, принимала уродливые формы садизма и мазохизма. Растравлять в себе самом душевное страдание, когда острота его притупляется, а также доводить до отчаяния, до слез хитро измышленными придирчивыми укорами близких ему, например, беззаветно преданную Замятину... Может быть это вообще свойственно художественным натурам, постоянно ищущим раздражений, — может быть, но я задыхалась в этом.

К тому же я была очень одинока: сестра вышла замуж, проводила зиму в Париже. Даже письма наши были немы — мы обе молчали о тягостях наших жизней. В. Иванов ревниво не одобрял брак сестры, считая,



Вячеслав Иванов
Л. Зиновьева-Аннибал и ее дочь

что она недостаточно любит, недостаточно любима, а втайне негодуя, что она изменила образу из его сонета, ей посвященного :

Так ты скользишь чужда веселью дев
Глухонемой и потаенной тенью...

Потом приезжий из Парижа пересказал ему какие-то, кем-то сказанные слова и вот взрыв гнева : Аделаида предала его, его врагам в парижской русской колонии, — предательница ! И вся семья с укором глядела на меня, сестру предательницы. Впоследствии, при первом же свидании сплетня рассеялась и между ними опять нежнейшие отношения ученицы и учителя. Но в ту весну девятого года все мне было в нестерпимую боль. Когда я получила от сестры, беременной и тяжело переносившей беременность, призыв приехать — я вся встрепенулась, рванулась к ней. Вяч. Иванов сперва гремел : « Или я или враги мои », потом разжалобливал меня... Но я нашла в себе силы уехать. Когда он провожал меня на Варшавском вокзале, слова его были — вся нежность, но я с тоской переживала конец.

В последующие годы мы встречались : и я гостила у них, и в Москве мы виделись в кругу друзей, но свидания несли мне больше боли, чем радости.

Но была у нас еще недолгая полоса, месяц, проведенный в интимной близости.

Осенью 1912 года Вяч. Иванов покинул Петербург, вместе с семьей уехал за границу. В литературном мире пошли шепоты о том, что он сошелся со своей падчерицей и что она ждет ребенка. Друзья смущенно молчали — все привыкли считать эту светловолосую с античным профилем Веру как бы его дочерью, недоброжелатели кричали о разврате декадентов.

Зимою я получила от него письмо о том, что у Веры родился сын, что они переезжают в Рим и настойчивый зов приехать к ним. Семейные обстоятельства

сложились так, что я смогла это сделать, и в апреле с грустно-радостным волнением шла к ним на Пьяццу дель Пополо, давно знакомыми, давно любимыми улицами Рима. Во внутренний дворик палаццо, по лестнице из массивных плит вверх... Они занимали квартирку, переданную им какой-то англичанкой. Комнатки завешены индусскими вышитыми тканями, тонкий запах лаванды, которую любят старые англичанки. Семейный уют, привычки Вяч. Ивановича ревниво блюла хлопотунья Замятина. Молодая мать над колясочкой трехмесячного сына. Вторая девочка, подросшая, похожая на отца, быстрым, безбровым взглядом — композитор в будущем — ходила в музыкальную школу. Вяч. Иванович, — с тех пор, как сбрил бороду, похожий на Момзена острым профилем и пушистой головой — мыкался по тесному кабинету, медленно, с затяжками ничегонеделания переводил Эсхила.

Встретил меня с волнением: сестра... его радость мне вызвана и тоской по привычному умственному общению и тревожна желанием знать, что думают о нем друзья. Пошли долгие разговоры, смахивавшие на самооправдывание. Стали вместе перебирать планы их устройства в будущем. Отношение его к молодой жене оставалось то же, что было к девочке-падчерице, как и прежде в житейских делах она, трезвая, крепко стоящая на земле, восхищала и подчиняла себе его, такого неумелого в жизни, и, как прежде, она же молча и благоговейно слушала его вдохновенные речи. Теперь — такие редкие. Начнет — и сейчас же взлет мысли оборвется. Стихов не писал [1]). Каким обнищалым ка-

---

1) О. Шор несогласна с замечанием Е. Герцык о бесплодности Вяч. Иванова в этот период. « В то время стала распространяться, летом и осенью 1912 г. написанная книга лирики — "Нежная Тайна", » ...именно в тот, ею проведенный, в доме В.И. месяц он написал целую поэму « Младенчество ». Поэма была опубликована в Москве в 1918 г.; но в рукописи она самим автором датирована « Рим, от 10 апреля по 23 мая 1913 г. « Тогда же В.И. занимался собиранием и обработ-

зался он мне! Не знала я, что лирику периодически нищать, опустошаться до дна — это жизнь его, это хлеб его.

— И отчего вы, sorellina, такая счастливая, такая независимая? — Чуточку ревниво допрашивал. — Расскажите мне все про себя.

И я рассказывала — о себе, о друзьях, и даже — когда мы засиживались ночью за правкой Эсхила — чтобы развеять ужас Клетимнестровой судьбы пересказывала ему увлекательный английский роман. Только бы потешить, развлечь. Он и здесь, как под хмурым петербургским небом, упорный домосед. Брюзжит на Рим. Я же всякое утро с радостно бьющимся сердцем вскакивала: куда сегодня? Наскоро выпив что-то в кухне под старательный итальянский Верин говор с кухаркой, выходила на римскую улицу с незабываемыми римскими запахами. Музеи, галереи исхожены, — презирая Бедекер, шла разыскивая среди заброшенного виноградника на Цели какую-то, нигде не отмеченную церквушку, с которой связана древняя легенда, какой-нибудь затейливый, еще не виденный фонтан, фрагмент барокко... А вечером все в подробности, чертя карандашом, рассказывала Вяч. Иванову, и не только об этом — о жизни улицы: о торговце ножами в тележке под огромным звездным зонтом, о том, как в Трастевере две бабы, подравшись, швыряли друг в друга морковь. Он наслаждался, смеясь по-стариковски. Но почему его не зазовешь никуда? То ли боязнь больших, из прошлого впечатлений, боязнь разбудить что-то... Два, три выхода вместе — не больше. Раз мы поехали за город. Вячеслава Ивановича навещал ученый монах padre Palmieri, ревностный сторонник воссоединения церквей. Он и повез нас по неспешной узкоколейке в монастырь базильянцев

кой материала по вопросу об истоках религии Диониса, на основании которых впоследствии написал целое исследование — «Дионис и Прадионисийство».

Grotta Ferrata, где служба шла не по-римски — по чину Василия Великого. Монастырь, напоминающий восток и тем, что на русский лад обнесен толстой побеленной стеной и тем, что на фресках святые отцы длиннобороды и волосаты без тонзуры. Вяч. Иванович на элегантном итальянском языке вел с падре Пальмиери разговоры о соединении востока и запада, но чувствовалось, что души в это не вкладывал. Потом приходил Эрн, молодой московский ученый, писавший в Риме диссертацию о философе Джоберти. С ним вливалась к нам волна влюбленности в первохристианский, катакомбный Рим и воинствующая ненависть ко всей современной Европе — равно к марксизму, к неокантианцам, к Ватикану. Он верил только в монашеский восток... Вяч. Иванов слушал его посмеиваясь, похаживая, останавливался у окна : тонкий обелиск на площади еще розовел вверху, а основание его тонуло в фиолетовой мгле. Искусный спорщик, сейчас он не принимал вызовы Эрна. « В сущности, ведь мне совсем не верно быть belliqueux, быть волевым » — говорил он мне потом.

Теперь, когда у меня в руках его последние римские сонеты написанные через 15-20 лет после той весны, мне ясно, что уже тогда в нем, нищем, не пишущем стихов, копился в тишине дух этих сонетов.

Пью медленно медвяный солнца свет,
Густеющий, как долу звон прощальный.
И светел дух печалью беспечальной,
Весь полнота, какой названья нет.

Это писалось в тридцатых годах нашего века. Вяч. Иванов почти старик. Отгорели страсти, от бурь и битв истории бежал (думал, что бежал), ряд потерь позади, вместо почетной старости — безвестность, может быть, нужда; не эмигрант — эмигрантским кругам он тоже чужд. А дух полон :

.... один
На золоте круглится купол синий.

Та римская весна, которую мы прожили вместе, была предчувствием этих его последних вечерних озарений.

В Риме мне стала яснее прежнего кровная близость Вяч. Иванова с Достоевским (или сам он тогда именно осознал ее явственней?). Имя Достоевского то и дело поминается им. В его отношении к Пушкину чувствовался холодок, несмотря на всегдашнее восхищение пушкинским мастерством. Ближе ему пантеист Тютчев; не ночной, не знающий Бога, бессолнечный Тютчев — нет, не он его спутник в радости и горе. А вот Достоевского он любил всегда живой любовью, хотя и по-иному, чем тот — Пушкина, не как благоговейный ученик... Но какого Достоевского? Достоевский стоит на перекрестке слишком многих дорог — среди них есть одна малохоженная, едва намеченный след : Пушкин — Достоевский — Вяч. Иванов. Это — восприятие святости как красоты, — или красоты как святости (« красота мир спасет »). Это — сладостный восторг в созерцании мира, не иного, а *этого, здешнего, который* они все трое самозабвенно (так, по-разному) любили. *Этот* мир, *эта* земля.

Уже в самых ранних стихах Вяч. Иванова я нахожу этот мотив, пока еще бесхитростно, бедно выраженный :

И все, что дух сдержать не мог,
Земля смиренно обещала.

В мировой поэзии я не знаю другого поэта, который, зачерпнув, испив так много неба, вечности, дугою-радугой спускался бы *сюда же,* льнул к этой земле, у которого звучало бы такое безостановочное утверждение мира, оптимизм. Гете? Но он вообще вряд ли когда отрывался от земли. Данте? Этот, достигнув девятого неба, так и не вернулся.

Мне могут возразить, что Вячеслав Иванов рвался прочь из этого мира, называл его призрачным, могут привести и примеры, опровергающие меня. Я сама могу их привести.

О, сновиденье жизни, долгий морок !
.... Уже давно не дорог
Очам узор, хитро заткавший тьму.

И другие подобные. Но не это доминанта, или, вернее, звучание было бы не то, если бы и эта нота не входила в ту « полноту, какой названья нет ».

Эти мысли о последнем слове поэзии Вяч. Иванова в смутных еще догадках, помню, бродили во мне именно в Риме, в мои одинокие утренние блуждания. В Риме, где внутренняя тихость Вяч. Иванова не заслонялась для меня блеском его бесед с приятелями, — ни эрудицией, ни хитросплетениями ума. Ведь обычно именно это отмечают все, кто пишут о нем. Слава одного из последних в Европе гуманистов мешает слышать за всем этим чистейшего лирика. Для читателей будущего этой помехи не будет. Правда, будет другая : стих его порой архаичен, перегружен великолепием, сейчас чуждым уху. А под коростой великолепия такие журчат живые, утоляющие воды.

Так прошли мы рядом этот весенний месяц в никогда еще не бывшем тихом согласии — без событий, без мудреных бесед. В памяти у меня картина : Вера с мальчиком на полу, на ковре, Вячеслав Иванович от письменного стола задумчиво, немножко грустно смотрящий на них. Может быть и не так уж лжива измышленная им, а ею слепо повторяемая идея, будто их брак не новый союз двоих, а только отголосок, тень его брака с ее матерью ?

Мне нужно ехать. Вещи мои уже сложены, а Вяч.

Иванович по своему обычаю удерживает меня то хитростью, то гневом, то лаской... Наконец я проводила их двоих в Ливорно, где старик греческий священник когда-то венчал его с Лидией Аннибал венцами из виноградной лозы, перевитой белой шерстью (первохристианский обычай). Теперь он же освятил и этот брак : русская синодская церковь этого бы не сделала. Но на голове Веры был не венец менады, а обыкновенный, тяжелый, золоченый.

Проводив их, я уехала на север на соединение со своими. Это была моя последняя встреча с Римом и последняя глава моей близости с Вячеславом Ивановым.

V

ВОЛОШИН

« Он — священная пчела »
« Пчела — Афродита »
« Он — хмель Диониса ».

Щуря золотистые ресницы, моя гостья с трогательной серьезностью подбирает образы — изысканные и ученые — и я вторю ей. Но в зеркале ловлю лукавую улыбку сестры : сидя поодаль с ногами на кушетке, записывает наш диалог. Вот он и сохранился у меня на обложке какой-то тетради...

В 1907 году мы всего ближе подошли к декадентству, непритворно усвоили жаргон его, но чуть что — и сами высмеем себя.

Это пришла ко мне знакомиться Маргарита Сабашникова, соперница моя по толкованию лирики Вячеслава Иванова и по восхищению своим поэтом. Питать к сопернице примитивные злые чувства ? Конечно же нет. Но что же, если и вправду привлекательна и сразу близка мне Маргарита ? Она как и мы пришла сюда из патриархального уюта, еще девочкой-гимназисткой мучилась смыслом жизни, тосковала о Боге, как и мы чужда пошиба декадентских

кружков, наперекор модным хитонам ходила чуть что не в английских блузках с высоким воротничком. И все же я не запомню другой современницы своей, в которой бы так полно выразилась и утонченность старой расы, и отрыв от всякого быта, и томление по необычно-прекрасному. На этом-то узле и цветет цветок декадентства. Старость ее крови с востока: отец из семьи сибирских золотопромышленников, породнившихся со старейшиной бурятского племени. Разрез глаз, линии немножко странного лица Маргаритина будто размечены кисточкой старого китайского мастера. Кичилась прадедовым шаманским бубном.

По ее рассказам вижу ее тоненькой холеной девочкой в длинных натянутых чулочках. Богатая московская семья. Отец — книголюб и издатель — немножко смешной и милый, вместе с дочкой побаивается « мамы », у которой сложная и непреоборимая система запретов. Почему, что нельзя — им обоим никогда не понять. Вот Маргарите так хочется позвать в детскую швейцарова внука, приехавшего из деревни; швейцар принес ей лубяную беседочку — Гришино изделье, — но позвать его, показать, как живут куклы — нельзя. Она тиха, не бунтует, только взгрустнулась. Вдруг — озаренье: Гриша будет бог кукол — бога ведь не видно, только знаешь, что он есть. Жизнь заиграла. Собираясь на прогулку, Маргарита всякий раз берет с собой другую куклу, наряжая ее, волнуется: может быть растворится дверь в швейцарскую мелькнет вихрастый мальчик — кукла увидит бога. И через несколько дней горько упрекала маленькую подругу: зачем, зачем ты выдала! Теперь у кукол больше нет бога.

— Да почему? Мама твоя не бранилась.

— Но она знает, а что она знает, то уж больше не бывает.

И позже, когда Маргарита, уже взрослая, загорится новым поэтом, а мать в своей нарядной гостиной под розовым абажуром перелистает, хотя бы и молча,

не осуждая, тощий томик — и вот его уже нет, сник, повял...

Маргарита уехала в Париж учиться живописи. У нее подлинное дарование, чистота рисунка, вкус. Почему она не стала художником с именем? Портреты ее работы, которые я знаю, обещали прекрасного мастера. Правда, почему? Не потому ли, что, как многие из моего поколения, она стремилась сперва решить все томившие вопросы духа, и решала их мыслью, не орудием мастерства своего, не кистью.

Маргарита уехала в Париж и там встретилась с Волошиным, тогда начинающим поэтом и художником. По галереям Лувра, в садах Версаля медленно зрел их роман, — не столько роман, как рука об руку вживание в тайну искусства. Волошин пишет :

Для нас Париж был ряд преддверий
В просторы всех веков и стран,
Легенд, историй и поверий...
. . . .
Как жезл сухой расцвел музей.

Но в их восприятии прошлого — какая рознь : он жадно глотает все самое несовместимое, насыщая свою эстетическую прожорливость, не ища синтеза и смысла. Пышноволосый, задыхающийся в речи от спешки все рассказать, все показать, все воспринять. А рядом с ним тоненькая девушка с древним лицом, брезгливо отмечает и одно, и другое, сквозь все ищет единого пути, и ожидающим, и требующим взглядом смотрит на него. Он уставал от нее, уходил. Но месяцы проходили и опять, брызжущий радостью, спешил через Европу туда, где она. И они соединились.

После брака они поселились в Петербурге, в том самом доме, где вверху была « башня » Вяч. Иванова. Оба сразу поддались его обаянию, оба вовлечены в заверть духа, оба — ранены этой встречей. Все это произошло за несколько месяцев до знакомства моего

с М. Сабашниковой, о котором выше. Тогда же узнала я и Волошина. Поздней ночью (по обычаю башни) я сидела у Вяч. Иванова, перед нами гранки его новых стихов « Эрос », и я смятенно вслушивалась в эти новые в его творчестве ритмы. Бесшумными движениями скользнула в комнату фигура в пестром азиатском халате, — увидев постороннюю, Волошин смутился, излился в извинениях — сам по-восточному весь мягкий, вкрадчивый, казавшийся толще, чем был, от пышной бороды и привычки в разговоре вытягивать вперед подбородок, приближая к собеседнику эту рыжевато-каштановую гущину. В руках — листок, и он читает, посвящение к этим же стихам Вяч. Ив. Читая, вращал зеленоватыми глазами. Весь чрезмерно пышный рядом с бледным, как бы обескровленным Вяч. Ивановым. Но вот в разговоре он упомянул Коктебель. « Вы знаете Коктебель ? » и перед глазами у меня пустынный амфитеатр гор и море, синее, которого не увидишь в Крыму. Нам это первый отец на пути в Судак, и все, что еще в вагоне не развеется из зимнего и ненужного — здесь наверняка снесет соленым порывом. Но разве живут в Коктебеле ? Там на безлюдном берегу ни дома, ни деревца... А он сказал : « Коктебель моя родина, мой дом — Коктебель и Париж, — везде в других местах я только прохожий ».

И вот уж мне больше не чужой. По-другому запылали у меня щеки, когда мы с ним наперебой посыпали названиями гор, балочек, селений, думалось мне, никому во всем мире не известных...

В ту весну седьмого года мы как-то вечером сидели вчетвером : Волошин, Сабашникова, сестра и я. Волошин читает терцины, только что написанные.

С безумной девушкой, глядящей в водоем,
Я встретился в лесу. « Не может быть случайно,
Сказал я, встреча здесь. Пойдем теперь вдвоем ».
Но вещим трепетом объят необычайно
К лесному зеркалу я вместе с ней приник.

И некая меж нас в тот миг возникла тайна.
И вдруг увидел я со дна встающий лик —
Горящий пламенем лик солнечного зверя.
« Уйдем отсюда прочь ! » Она же птичий крик
Вдруг издала и, правде вновь поверя,
Спустилась в зеркало чернеющих пучин.
Смертельной горечью была мне та потеря
И в зрящем сумраке остался я один.

Маргарита не весело смеялась, тихо, будто шелестела. « И все неправда, Макс ! Я не в колодец прыгаю — я же в Богдановщину еду ».

Это был канун их отъезда, его — в Коктебель, ее — в имение родителей.

« И не звал ты меня прочь ». И сам ты не меньше меня впился в Солнечного зверя ! И почему птичий крик ? Ты лгун, Макс ».

— Я лгун, Амори — я поэт.

Так дружелюбно — они расходились.

Нам с сестрой с первых же дней довелось узнать Волошина не таким, каким запомнили, зарисовали его другие современники : в цилиндре, на который глазела петербургская улица, сеящая по литературным салонам свои парадоксы, нет — проще, тише, очеловеченней любовной болью.

В конце мая мы в Судаке, и в один из первых дней он у нас : пешком через горы, сокращенными тропами (от нас до Коктебеля 40 верст), в длинной по колени кустарного холста рубахе, подпоясанной таким же поясом. Сандалии на босу ногу. Буйные волосы перевязаны жгутом, как это делали встарь вихрастые сапожники. Но жгут этот свит из седой полыни. Наивный и горький веночек венчал его дремучую голову.

Из рюкзака вынимает французские томики и исписанные листки — последние стихи.

Я иду дорогой скорбной в мой
безрадостный Коктебель.

По нагорьям терн узорный
и кустарник в серебре.
По долинам тонким дымом
розовеет вдали миндаль.

И еще в таких же нерифмованных античных ладах. Музыка не жила в Волошине — но вот зазвучала музыка.

Не знаю, может быть говорит во мне пристрастие, но мне кажется, что в его стихах 7-го года больше лиризма, меньше чем обычно назойливого мудрования, меньше фанфар. В кругах символистов недолюбливали его поэзию: все сделано складно, но чего-то чересчур, чего-то не хватает...

Помню, долгие сидения за утренним чайным столом на террасе. Стихи новейших французов сменяются его стихами, потом сестриными, рассказами о его странствиях по Испании, Майорке, эпизодами из жизни парижской богемы... Горничная убирает посуду, снимает скатерть, с которой мы поспешно сбрасываем себе на колени книги и тетради. Приносится корзина с черешнями — черешни съедаются. Потом я бегу на кухню и приношу кринку парного молока. Волошин с сомнением косится на молоко (у них в солончаковом Коктебеле оно не водилось), как будто это то, которое в знойный полдень Полифем надоил от своих коз. И вот он пересказывает нам — не помню уже чью, которого из неосимволистов — драму: жестикулируя короткой по росту рукой, приводит по-французски целые строфы о Полифеме и Одиссее. В театре Расина античность являлась подмороженной, припудренной инеем. А вот Волошин воспринял ее в ядовитом оперении позднего французского декаданса. Все вообще до него дошло приперченное французским esprit. Ему любы чеканные формулировки, свойственные латинскому духу, — например, надпись на испанском мече: no! no! si! si! — не потому ли, что сам он никогда ничему не скажет нет? Восполняя какую-то

недохватку в себе, он в музеях заглядывался на орудия борьбы, убийства, даже пытки ?

Подмечаю, как рассказывая о своей беседе с Реми де Гурмон, тонким эссеистом и языковедом, он с особенным вкусом останавливается на обезображенном виде его : лицо изъедено волчанкой, обмотано красной тряпкой, в заношенном халате, среди пыльных ворохов бумаг — таким он увидел этого изысканнейшего эстета. Парадоксальность в судьбе человека всегда манит его. В судьбе человека — в судьбе народов, потому что Волошин с легкостью переходил и на широкие исторические обобщения. Заговариваем о революции — ведь так недавно еще 5-й год, так тревожит душу, не сумевшую охватить, понять его...

— Революция ? Революция — пароксизм чувства справедливости. Революция — дыхание тела народа... И знаете, — Волошин оживляется, переходя на милую ему почву Франции — 89-й год, или вернее, казнь Людовика — корнями в 14-м веке, когда происками папы и короля сожжен был в Париже великий магистр Ордена Тамплиеров — Яков Молэ, — этот могущественный орден замышлял социальные преобразования, от него же и принципы, и т. д. И вот во Франции пульсация возмездия, все революционное всегда связано с именем Якова : крестьянские жакерии, якобинцы... Исторический анекдот, остроумное сопоставление, оккультная догадка — так всегда строила мысль Волошина и в те давние годы, и позже, в зрелые. Что ж — и на этом пути случаются находки. Вся эта французская пестрядь, рухнувшая на нас, только на первый взгляд мозаична — угадывался за ней свой, ничем не подсказанный Волошину опыт. Даром что он в то время облекался то в слова Клоделя, то в изречения из Бхагават Гиты по-французски...

Но Волошин умел и слушать. Вникал в каждую строчку стихов Аделаиды, с интересом вчитывался в детские воспоминания ее, углубляя, обобщая то, что она едва намечала. Между ними возникла дружба или

подобие ее, не требовательная и не тревожащая. В те годы, когда ее наболевшей душе были тяжелы почти все прикосновения, Макс Волошин был ей легок : с ним не нужно рядиться напоказ в сложные чувства, с ним можно быть никакой. А он, обычно такой объективный, не занятый собою, чуждый капризов настроений, ей одной, Аделаиде, раскрывался в своей внутренней немощи, запутанности. « Объясните же мне, — пишет он ей, — в чем мое уродство ? Все мои слова и поступки бестактны, нелепы всюду, и особенно в литературной среде, я чувствую себя зверем среди людей, чем-то неуместным... А женщины ? У них опускаются руки со мной, самая моя сущность надоедает очень скоро, и остается одно только раздражение. У меня же трагическое раздвоение : когда меня влечет женщина, когда духом близок ей — я не могу ее коснуться, это кажется мне кощунством... » Так он говорил и этим мучился. Но поэту все впрок. Из этого мотка внутренних противоречий позднее, через несколько лет, он выпрял торжественный венок сонетов : « В мирах любви неверные кометы ».

Как-то среди лета Волошин появился в сопровождении невысокой девушки, черноволосой с серо-синими глазами. Ирландка Байолет, с которой он сблизился в художественных ателье Парижа. Он оживленно изобразил сцену ее приезда : был сильный ливень, горный поток, рухнув, разделил надвое коктебельский пляж... Он и Байолет стояли по обе стороны его, жестами, беспомощными словами перекликались, наконец она разулась и, подобрав платьице, мужественно ринулась в поток — он еле выловил ее. « И первым жестом моего гостеприимства было по-библейски принести чашку с водой и омыть ей ноги ». Байолет тихо сияла глазами, угадывая, о чем он рассказывал. Мы переходили на французский язык, на английский, но на всех она была немногоречива. Ее присутствие не нарушило наших нескончаемых бесед, только мы стали больше гулять, наперебой стремясь пленить иностран-



М. Волошин

ку нашей страной. Она восхищенно кивала головой, в испанских соломенных espadrilles на ногах, козочкой перебегала по скалам и, усевшись на каком-нибудь выступе над кручей, благоговейно вслушивалась в французскую речь Волошина, — речь свободно текущую, но с забавными ошибками в артикле (article).

Эта тихая Байолет так и осталась в России, прижилась здесь, через несколько лет вышла замуж за русского, за инженера, и, помню, накануне свадьбы, в волнении сжимая руки сестры моей, сказала ей : Max est un dieu.

На нашей памяти Байолет была первой в ряду тех многих девушек, женщин, которые дружили с Волошиным, и в судьбы которых он с такой щедростью врывался : распутывая застарелые психологические узлы, напророчивал им жизненную удачу, лелеял самые малые ростки творчества... Все чуть не с первого дня переходили с ним на « ты ». Какая-нибудь девчоночка, едва оперившаяся, в вольере поэтесс, окликала его, уж седеющего : « Макс, ну, Макс же ! » Только мы с сестрой неизменно соблюдали церемонное имя отчество, но за глаза, как все, называли его « Максом ». И в памяти моей он — Макс.

Вот я впервые в Коктебеле, так не схожем с теперешним людным курортом. Пустынно. Пробираюсь зарослями колючек к дому Волошина. У колодца, вытягивая ведро, стоит кто-то, одетый точь-в-точь, как он, с седыми, ветром взлохмаченными волосами — старик ? Старуха ? Обернувшись к дому, басом, сильно картавя, кричит Максу какое-то приказание. Мать ! Но под суровой внешностью Елена Оттобальдовна была на редкость благожелательна, терпима, чужда мелочности. По отчеству будто немка. Но я не знаю, никогда не удосужилась спросить ее о ее прошлом и о детстве сына. Нам было тогда не до житейских корней. Помню только фотографию красивой женщины в амазонке с двухлетним ребенком на руках, и знаю, что вот таким она увезла его от мужа и с тех пор одна растила. Но

какое-то мужеподобие ее лишило нежности этот тесный союз и, по признанию Макса, ласки материнской он не знал. Мать ему — приятель, старый холостяк, и в общем покладистый, не без ворчбы. И хозяйство у них холостяцкое : на террасе с земляным полом, пристроенной к скромной даче, что углом к самому прибою, нас потчуют обедом — водянистый, ничем не приправленный навар капусты запивается чаем, заваренным на солончаковой коктебельской воде. Оловянные ложки, без скатерти... Оба неприхотливы в еде, равнодушны к удобствам, свободны от бытовых пут. Но в комнате Волошина уже тогда привлекало множество редких французских книг и художественная кустарная резьба — работа Елены Оттобальдовны.

15 августа 1907 г.

« Дорогая Аделаида Казимировна.

Маргарита Васильевна приехала вчера в Коктебель. Но мы не сможем собраться на этой неделе в Судак. Сейчас она устала очень, а в воскресенье я должен, к сожалению, читать на вечере в пользу курсисток в Феодосии. Так что мы приедем не раньше, чем во вторник на следующей неделе.

Коктебель кажется одержал на этот раз победу над ее сердцем. Венки из полыни и мяты, которыми мы украсили ее комнату, покорили ее душу во сне своим пустынным ароматом.

Эти дни я все твержу про себя стихи Шарля Герена. Послушайте, как это хорошо :

Contemple tous les soirs le soleil qui se couche;
Rien n'agrandit les yeux et l'âme, rien n'est beau
Comme cette heure ardente, héroïque et farouche,
Où le jour dans la mer renverse son flambeau ».

Они приехали под вечер. Почти не заходя в дом, мы повлекли Маргариту на плоскую, поросшую полынью и ковылем гору, подымавшуюся прямо за домом.

Оттуда любили мы смотреть на закат, на прибрежные горы. Опоздали : « героическое и жестокое » миновало. Но как несказанно таяли последние радужные пятна в облаках и на воде. Лиловел тяжелый Мэганом. Я не знаю, откуда на земле прекрасной открывается земля! Наше ли общее убеждение передалось Маргарите, только она, запрокинув голову, шептала: да, да, мы как будто на дне мира... Волошин счастливым взглядом — одним взглядом — обнимал любимую девушку и любимую страну : больше она не враждебна его Киммерии!.. Мы долго стояли и ходили взад и вперед по темнеющей Полынь-горе. Волошин рассказывал, как накануне Маргарита зачиталась с вечера « Wahlverwandtschaft » Гете и когда кончила роман, так была потрясена им, что в 3 часа ночи со свечой в руке, в длинной ночной сорочке пошла будить — сначала его, но не найдя в нем, сонном, желанного отклика, приехавших с нею двоюродную сестру и приятельницу и, подняв весь дом, стала им толковать мудрость Гете. Маргарита, смеясь смущенно : но как же спать, когда узнаешь самое сокровенное и странное в любви.

У нас начались новые дни, непохожие на прежние с Волошиным. То застенчивая, то высокомерная Маргарита оттесняла его, « Ах, Макс, ты все путаешь, все путаешь... » Он не сдавался : « Но как же, Амори, только из путаницы и выступит смысл ».

Он оставил ее погостить у нас и, простившись с нами у ворот, широко зашагал в свой Коктебель — к стихам, книгам, к осиротевшей Байолет.

Маргарита не ходок. Мы больше сидели с ней в тени айлантусов в долине. Зрел виноград. Я выискивала спелую гроздь розового муската и клала ей на колени, на ее матово-зеленое платье. Она набрасывала эскизы к задуманной картине, в которой Вячеслав Иванов должен был быть Дионисом, или призраком его, мерцающим среди лоз, а она и я « Скорбь и Мука » — « две жены в одеждах темных — два виноградаря... » (по его стихотворению). Мы перерыли шка-

фы, безжалостно распарывали какие-то юбки, темно-синюю и фиолетовую, крахмалили их: она хотела, чтобы они стояли траурными каменными складками, как на фресках Мантеньи. Картина эта никогда не была написана. И говорили мы чаще всего о Вяч. Иванове, о религиозной основе его стихов, многоумно решали, куда он должен вести нас, чему учить... Маргарита печалилась, что жена мешает ему на его пути ввысь. Все было возвышенно, но все — мимо жизни. Это была последняя моя длительная встреча с нею. Осенью она надолго уехала за границу. Через годы — и еще через годы — я встречала ее, и всякий раз она была все проще и цельнее, все вернее своей сущности, простой и религиозной. Но здесь я роняю Маргариту — не перескажешь всего, не проследишь линий всех отношений.

Я слишком долго задержалась на первом и интенсивном этапе нашего общения с М. Волошиным, на лете 1907 года. Дальше буду кратче.

Следующую зиму он в Петербурге. Живет в меблированных комнатах. Одинок. Болеет. Об этом и о круге его тогдашних интересов говорит одно из сохранившихся писем к нам.

« Дорогие Аделаида Казимировна и Евгения Казимировна ! Прежде всего поздравляю вас с праздником. Долговременное мое заключение заставило меня оценить разные виды роскоши, которые раньше я недостаточно ценил, имея возможность пользоваться по желанию. Теперь же я мечтаю, как буду приходить к вам, вести длинные беседы, как только восстановится мое ритмическое общение с миром духов, которое, как известно, происходит посредством дыхания.

Как мне благодарить вас за пожелания и за книги. И Бальмонт, и Плотин и... индюк. Этот дар Веры Степановны тронул меня больше всего и польстил. Я почувствовал себя древним трубадуром. Зимой, когда они удалялись в тишину своего дома и подготовляли к летним странствиям новые песни, из окрестных зам-

ков, согласно обычаю, им присылали дары: жареных кабанов, оленей, индюков. Вы понимаете, с какой гордостью приму восстановление этих прекрасных литературных традиций.

У Плотина я нашел очень важные вещи — некоторые почти буквальные совпадения в мыслях и даже словах с Клоделем, о котором мысленно уже пишу.

Я только что закончил статью о Брюсове. Его общую характеристику, как поэта. Прежде чем отдать ее в Русь, мне бы очень хотелось, надо было бы прочесть ее вам. Может быть это можно было бы сделать сегодня вечером или завтра утром? Может вы можете заехать ко мне?...»

Одинокость. Отчужденность от кругов модернистов. Не в эту, кажется, а в следующую зиму один инцидент обострил и без того неладившиеся отношения. Нехотя ворошу эту старую историю, такую, однако, характерную для тех душных лет. В редакции «Аполлона» читались и обсуждались стихи молодых поэтов. Среди выступавших была Д. Незаметная, некрасивая девушка и эстетствующий редактор. С. Маковский с обидным пренебрежением отнесся к ней и к прочтенному ею. Через некоторое время он получил по почте цикл стихов. Женщина — автор, тоном светской болтовни, ссылалась на свою чуждость литературным кругам, намекала на знатное и иностранное происхождение. Стихи были пропитаны католическим духом, пряным и экстатичным. Тематика их, обаятельное имя Черубин, глухие намеки пленили сноба Маковского. Стихи сданы в набор, он приглашает автора в редакцию. Она отказывается. Маковский шлет ей цветы, по телефону настаивает на встрече... Какие литературные реминисценции подсказали эту игру? Не помню в точности, в какой мере М. Волошин участвовал в ней и какие мотивы преобладали в нем, — страсть ли к мистификации, желание осмеять литературный снобизм, рыцарская защита женщины-поэта? Но он был упоен хитро вытканным узором и восхищался талан-

тливостью Д. В книгах по магии он выискал имя захудалого чертенка Габриок и, приставив к нему дворянское « де », забавлялся : « они никогда не расшифруют ! »

Когда обман раскрылся, редакция, чтобы выйти из глупого положения, в следующем же номере напечатала другие стихи Д., уже за ее подписью. Но все негодование Маковского и его единомышленников обрушилось на Волошина. Произошли какие-то столкновения. Ему стало невтерпеж в Петербурге и он снова бежал в любимый Париж. Но отношения с Д., дружеские и значительные, прошли через всю его жизнь. Я никогда не встречала ее и вся эта история глухо, как бы издалека, дошла до меня.

В ту же зиму из писем Аделаиды, помеченных Парижем : « ... На днях, по желанию Дмитрия мы устроили обед для его родных (зятя и племянницы), Макс был поваром; он великолепно готовит — его специальность суп из черепахи. Вообще Макс своим присутствием облегчает мне многое. Он легок, не помнит прошлого, не помнит себя, влюблен в Париж, всегда согласен показывать его и напоминает мне бестревожную судаковскую жизнь... »

И через две недели :

« Сегодня в два часа была наша свадьба, дорогие мои, тихая и целомудренная. Обручались рабы Божии... Присутствовали только Макс, зять Дмитрия Ц. с племянницей и Дима с Юриком. Шаферами были Макс и Юрик, оплакивали меня Любочка и Дима, свидетелем был Ц. Он генерал, так что все-таки был свадебный генерал. Я была без вуали, но с белыми розами — М-м Holstein прислала мне великолепный букет, а Макс принес мне gerbe вишневого цвета. Мы ехали в церковь вчетвером, и всю дорогу Макс читал нам свои последние парижские сонеты. Вернувшись домой, выпили кофе и малаги, и потом все разошлись. Дмитрий с Максом пошли на лекцию Бергсона, а меня оставили

отдыхать, и вот я одна сижу, вернее лежу, и на пальце у меня блестит толстое кольцо ».

Так в ткани наших жизней имя Макса — нить знакомой повторяющейся расцветки — мелькает там — здесь.

С годами круг близких людей менялся, но среди них, то зимою в Москве, то летом в Крыму, время от времени появлялась фигура Волошина. Он тоже уж не с нами переживал самое живое актуальное, и только спешил при свидании поделиться, перерассказать все. Коктебель делался людным : комната за комнатой, терраса за террасой пристраивались к Волошинской даче. Богемный, суматошный дух коктебельцев был не по нас. Мы с сестрой в те предвоенные годы — точно под нависшей тучей — каждая, по-своему, мучаясь, переживали религиозные искания. Вместе с теми, кто стал нам тогда близок, подходили к православию, отходили — искали чистых истоков его. Вплотную к душе, к совести подступил вопрос о России. Когда Волошин слышал эти разговоры, у него делалось каменно-безучастное лицо. А меня раздражали его все те же, пестро-литературные темы.

« А Россия, Максимилиан Александрович, почему вы никогда не задумываетесь над ее судьбой ? »

Он поднимает брови, круглит глаза.

« Как ? Но я же для этого и жил в Париже, а теперь, чтобы понять Россию мне нужно поехать на крайний восток, в Монголию ». — Он в то время носился с этим планом.

Я, конечно, огрубляю его слова, было сказано сложнее, но суть та же, и я, смеясь, сообщила кому-то — « Макс, чтобы найти Россию, едет в Париж и в Монголию... »

Но так ли это нелепо ? Ведь в последние годы жизни он и вправду нашел, выносил, дал свое понимание России, ухватил срединную точку равновесия в гигантских весах Востока и Запада. Что Восток и Запад — может быть ему, чтобы выверить положение

России и суть ее, нужно было провести звездные координаты...

Здесь, мне кажется, я нащупываю сердцевину его мирочувствия вообще, пальцем закрываю одну маленькую точку, на которой — все.

Какой внутренний опыт выковал своеобразие Волошинской поэзии с ее прожилками оккультных и древних идей, не отторжимых от самого в ней интимного ? ? Послушаем его признание :

Отроком строгим бродил я
По терпким долинам
Киммерии печальной,
Ждал я призыва и знака.
И раз перед рассветом,
Встречая восход Ориона,
Я понял
Ужас ослепшей планеты,
Сыновность свою и сиротство.

Для многих людей отношение их к земле — мера их патетической силы, мера того, что они вообще могут понять. Еще из детства доносится бесхитростное Шиллерово :

Чтоб из низости душою
Мог подняться человек,
С древней Матушкой-Землею
Он вступил в союз навек.

Карамазовы исступленно целуют землю... По-другому, и к другой земле склоняется Волошин, — к земле в ее планетарном аспекте, к оторванной от своего огненного центра, одинокой. (Замечу в скобках, что это не декадентский выверт : что земля стынущее тело в бесконечных черных пустотах — это реально так же, как реальны города на этой земле, как реальна человеческая борьба на ней. Кому какая дана память !)

Перелистав книгу стихов Волошина нельзя не заметить сразу, что самые лирические ноты вырывает у него видение земли.

О, мать Невольница, на грудь твоей пустыни
Склоняюсь я в полночной тишине...

В нем будит жалость « и терпкий дух земли горячей » и « горное величие весенней вспаханной земли ». Я могла бы без конца множить примеры.

В гранитах скал — надломленные крылья,
Земли отверженной застывшие усилья,
Уста Праматери, которым слова нет !

И в поэте эта немота вызывает ответный порыв : делать ее судьбу :

Быть черною землей....

и опять :

Прахом в прах таинственно сойти,
Здесь истлеть как семя в темном дерне...

и наконец :

Свет очей — любовь мою сыновью
Я тебе — незрячей — отдаю.

В своем физическом обличье сам такой материковый, глыбный с минералом иззелена-холодноватых глаз, Макс Волошин как будто и вправду вот только что возник из земли, огляделся, раскрыл рот — говорит...

История человека начинается для него не во вчерашнем каменном веке, а за миллионы миллионов лет, там, где земля оторвалась от солнца, осиротела. Холод сиротства в истоке. Но не это одно. Каждой частицей своего телесного состава он словно помнит великие, межзвездные дороги. Человек « путник во вселенной ».

« ...солнце и созвездья возникали
и гибли внутри тебя ».

Что это значит? Значений может быть много. Возьмем простейшее: впервые в сознании человека раскрывается смысл и строй того, что до него совершалось вслепую, — вглухую. Не одной земле — всей вселенной быть оком, быть голосом...

Все это мы вычитаем в его стихах, но это же и ключ к его человеческому существу, к линии его поведения, ко всему, вплоть до житейских мелочей. Отсюда та редкая в среде писателей свобода, независимость, нечувствительность к уколам самолюбия. Он всегда казался пришедшим очень издалека — так издалека, что суждения его звучали непривычно, порой вычурно. Но вычурность это не словесная игра: сегодня — так, завтра — этак, а крепкое ветвие из крепкого коренья.

Те, кто знали его в эпоху гражданской войны, смены правительств, длившейся в Крыму три с лишком года, верно запомнили, как чужд он был метанья, перепуга, кратковременных политических восторгов. На свой лад, но также упрямо, как Лев Толстой, противостоял он вихрям истории, бившим о порог его дома. Изгоем оставался при всякой власти. И когда он с открытой душой подходил к чекисту, на удивление вызывая и в том доверчивое отношение, — это не было трусливое подлаживание. И когда он попеременно укрывал у себя то красного, то белого, и вправду не одного уберег, — им руководил не оппортунизм, не дряблая жалостливость, а твердый внутренний закон.

Нет, он не жалостлив. Жестокими штрихами, не минуя ни одной жестокой подробности, рисует он русскую историю в своих стихотворениях последнего периода. Впрочем, назовешь ли их стихами? Он их так называл. Не с того ли времени, как он до конца осознал свою мысль, не стало ему охоты рифмовать, раскачивать метром свои поэтические замыслы? Теперь он,

как сам говорит, слово к слову « притачивает, притирает терпугом », ища только наиболее крепкого, емкого. Утекает последняя влага — не своя, заемная — только хруст да трение сопротивляющегося материала. Люб — не люб нам этот стих, но он точнее отражает внутреннее сознание поэта.

Я не пишу истории жизни Волошина. Из рассказа моего о нем выпадают целые периоды. Другие полнее опишут последние коктебельские годы, когда дом его и он сам были центром, собирающим поэтов, литературоведов, художников; писатели дореволюционные встречались с начинающими; многие произведения читались здесь впервые, — впервые звучали имена, позже упрочившиеся в литературе. Десятилетие от начала 20-х годов до начала 30-х.

Я не бывала на этих людных съездах. Мне чаще случалось заезжать в Коктебель в глухую осень, в зимнюю пору, когда по опустелым комнатам стонал ветер, и ночь напролет хлопала сорвавшаяся ставня, а море холодно шуршало под окнами. Не в шумном окружении — мне запомнился одинокий зимний Макс — Jupiter Fluxior. Он все так же схож со своим каменным подобием — зевсовским кумиром — когда в долгой неподвижности клонит поседелую гриву над маленькими акварельками. Слушает, слушает, спрашивает, не слушает, а рука с оплывшими пальцами терпеливо и любовно водит кисточкой. Преждевременно потучневший — ему нет пятидесяти — не от сердца ли? Так старый любовник, как зачарованный, опять и опять повторяет все ее черты — то алой на закате, то омраченной под дымной завесой, — но все ее. Единственной, « Земли незнаемой ».

Но холод гонит нас из мастерской в соседнюю комнату — столовую, где потрескивает печурка. Там, за обеденным столом бездомный крымский помещик, которого Волошин приютил. Перед ним годовой комплект « Temps », пятилетней, а то и большей давности. Вытянув подагрические ноги на другой стул, он, когда-то

частый гость парижских бульваров, услаждается новостями оттуда, — даже забывает брюзжать на « проклятых товарищей ».

— Ого, Максимилиан Александрович, послушайтека, что они в Одеоне ставят...

Смеющимися глазами Волошин поглядывает на меня. Мы устраиваемся на другом конце того же стола — тетради, книги перед нами. Он читает свои последние стихи, обсуждаем их. Читает новых поэтов, толкует мне их.

Потом у керосинки разогреваем обед. Мария Степановна, жена его, — суровая и заботливая подруга последних лет, — уехав по делам, наварила на два дня. Темнеет. С лампой в руках, укутавшись шалями, бродим вдоль книжных полок в его мастерской. Волошин выискивает мне интересные новинки. Мелькают книги нашей молодости... И за полночь засиживаемся, говоря уже не о книгах — о людях, близких и далеких, о судьбах, о смертях. Свои вправду мудрые и простые мысли он по старому выражает нарочито парадоксально. Что это ? Прихоть ? Декадентский навык ? Стыдливость души, стыдящейся быть большой ?

И вот последняя страничка о Волошине.

В ноябре 28 года мы всей семьей уехали из Судака, навсегда покинули его. Нам вслед конверт из Коктебеля с акварелями: « Посылаю всем экспатриированным по акварельке для помощи в минуты сурожской ностальгии ». Сурож, Сугдейя, Сольдайа — так в разные века и разные народы называли Судак.

Привожу выдержки нескольких писем Волошина, рисующих быт его пред-предпоследней зимы.

« Поздравляю всех киммерийских изгнанников с Н. Г. и желаю всем всего лучшего. Ушедший год был тяжелым годом — в декабре из близких умерла еще Лиля (Черубина Габриак) и писательница Хин. А едва ликвидировалось дело с конфискацией дачи, как начался ряд шантажных дел против наших собак. Ютафлы, этот вегетарианец, философ и непротивленец

обвиняется в том, что он раздирает овец в стадах десятками. По одному делу мы уже приговорены к 100 р., а ожидается еще несколько. Идет наглое вымогательство. Все это совершенно нарушает тишину нашего зимнего уединения и не дает работать. Нервы — особенно Мар. Степ. — в ужасном состоянии. Писанье стихов уже несколько раз срывалось. О мемуарах нечего и думать. А я об них думаю много и чувствую всю неизбежность этой работы, которая требует меня. Дневник Блока я тоже читал с волнением. Но он совсем не удовлетворил меня. Мы много говорили о нем летом с Сергеем Соловьевым. В Блоке была страшная пустота. Может она и порождала это гулкое лирическое эхо его стихов; Он проводил часы, вырезывая и наклеивая картинки из « Нивы ! ».

17/II-29. « ...Простите, что не сразу отвечаю. Но хотел исполнить просимое Вами, и исполнил. Но это вышла не страница мемуаров, а стихотворение, посвященное памяти Аделаиды Казимировны, которое и посылаю Вам. Кроме того посылаю Вам законченную на этих днях поэму « Юная Епифания » — это pendant к Аввакуму. Его судьба меня давно волновала и трогала. Кажется удалось передать это трогательное в его вере. Хочется ваше подробное мнение о стихах... У нас в Коктебеле жизнь обстоит так : харьковские друзья, обеспокоенные душевным состоянием М. Степ., прислали к нам нашего друга Домрачеву (всеобщую тетю Сашу) и та, собрав и упаковав Марусю, отправила ее в Харьков, а сама осталась « смотреть за мною ». Маруся уехала с последним автобусом, а вслед за этим нас занесло снегами и заморозило морозами. Еще неожиданно свалился художник Манчанари и наш летний приятель юноша Коля Поливанов. И вот мы все сидим как остатки какой-то полярной экспедиции. Что мне не мешает целый день работать над стихами. Результаты работы я вам и посылаю [1]).

---

1) Дальше в рукописи зачеркнуто : « ...А все неприятности

Вот стихотворение, посвященное Аделаиде Герцык. Оно не меньше, чем о ней, говорит об авторе его, о том, что было ему в ней близко и отзывно.

Лгать не могла, но правды никогда
Из уст ее не приходилось слышать :
Захватанной, публичной, тусклой правды,
Которой одурманен человек.
В ее речах суровая основа
Житейской поскони преображалась
В священную мерцающую ткань —
Покров Изиды. Под ее ногами
Цвели как луг побегами мистерий
Паркеты зал и камни мостовых.
Действительность бесследно истлевала
Под пальцами рассеянной руки,
Ей грамота мешала с детства в книге
И обедняла щедрый смысл письмен.
А физики напрасные законы
Лишали чуда таинство Игры.
Своих стихов прерывистые строки,
Свистящие, как шелест древних трав,
Она шептала с вещим выраженьем
Как заговор от сглазу в деревнях.
Слепая к дням, физически глухая,
Юродивая, старица, дитя, —
Смиренно шла сквозь все обряды жизни :
Хозяйство, брак, детей и нищету.
События житейских повечерий
(— Черед родин, болезней и смертей —)
В ее душе отображались снами
— Сигналами иного бытия.
Когда ж вся жизнь ощерилась годами

продолжаются. В нашей кассации нам отказали. И, кроме того, пришла новая повестка, вызывающая в новый суд за съедение еще двух баранов. Но я себя заставляю об этом не думать, чтобы не отвлекаться от работы ».

Расстрелов, голода, усобиц и вражды,
Она с доверьем подавая руку
Пошла за ней на рынок и в тюрьму,
И, нищенствуя долу, литургию
На небе слышала и поняла,
Что хлеб воистину есть плоть Христова,
Что кровь и скорбь — воистину Вино.
И смерть пришла, и смерти не узнала:
Вдруг растворилась в сумраке долин,
В молчании полынных плоскогорий,
В седых камнях Сугдейской старины.

В следующем письме Волошин отвечал на некоторые мои критические замечания.

Май.

« ... у нас наконец наступила весна, и тепло, и еще никого нет из гостей. Блаженные дни отдыха и растворения. Все зимние истории — морально — позабылись, материально — ликвидированы. Штрафы уплачены. Сердце снова готово принять людей, которых пошлет судьба, со всеми их горестями, слепотой, неумением жить, неумением общаться друг с другом, со всем, что так мучит нас летом.

Спасибо за все слова, что вы говорите о моих стихах памяти Ад. Каз. Но относительно двух замечаний позвольте с вами не согласиться. Первые строки о « правде » необходимы. Это первое, что обычно поражало в Ад. Каз. Хотя бы в том, как она передавала другим ею слышанное. Она столько по-иному видела и слышала, что это было первое впечатление от ее необычного существа. Но для Вас его, конечно, не было. « Паркеты зал » — необходимо художественно как контраст с последними строфами. И, в конце концов, фактически (сколько я помню ваши московские квартиры разных эпох) не так уж неверно. Эта антитеза обстановки нужна.

Посылаю вам еще стихи, написанные позже: « Владимирская Богоматерь » — стихи мне кажутся значительными в цикле моих стихов о России. Мне очень ценно ваше мнение о них. Очень хотел бы, чтобы вы переслали их В.С. — туда. Последнее время у меня частая тоска по общению со всеми отсутствующими и далекими. Я себе все эти годы не позволяю думать, но иногда это прорывается.

Кончаю это краткое письмецо. На сегодня ждет еще много обязательной корреспонденции, которая иногда меня изводит.

Приветы, пожелания и акварельки всем ».

В 1930 г. мы потеряли близкого человека. Максимилиан Александрович прислал нам большую акварель — все та же земля Киммерийская в тонах серебристо-сизых с облаком, повисшим над горой. Он написал : « Только что узнал о смерти Е. А. Радуюсь за нее. И глубоко сочувствую вам. Примите это видение на память о ней ».

Смерть не страшила его, быть может в иные дни в глубине влекла, как того, чей дух полон, мысль додумана. В августе 32 года он умер. В своей предсмертной болезни, как мне писали потом, был трогательно терпелив и просветлен.

VI

ЛЕВ ШЕСТОВ

Я — курсистка первокурсница. Исправно хожу на лекции. Большая аудитория в два света как бы с алтарным полукружием. В этом полукружии — кафедра. Один другого сменяют на ней один другого славнейшие лекторы. Старик Ключевский, слушать которого художественное наслаждение, о чем бы он ни повел рассказ. Величаво-самодовольный Виноградов, позднее прославившийся либеральным выступлением, опалой и почетным приглашением в Оксфорд. Новгородцев — исполненный морального пафоса, внедряет в Москву кантовский идеализм. Старый краснобай Алексей Веселовский. И сколько их еще... Красота, идеал, научный метод, истина — чудом стоит под высоким лепным плафоном. И мне ни к чему все это, не захватывая колесиков идет мимо моей трудной внутренней жизни. Дома лежит книга [1]). Совсем неизвестного автора. И вот она мне — живой родник. Самое нужное — самыми простыми словами. О том, что наступает час, когда обличается внезапно, катастро-

1) Добро в учении гр. Толстого и Нитше. С.-Петербург 1900.

фически лживость всего, что казалось незыблемым — добро, осмысленность жизни, истина. Человек повисает над бездной... И все это показано на опыте Толстого и Ницше, подкреплено цитатами. Человек повисает над бездной и тут-то ему впервые открывается настоящее знание... На губах у меня горит вопрос : что же открывается ? Какое знание ? И ждать я не могу. Так Лев Шестов вошел в мою жизнь. Но, где его найти ? Просматривая январский номер[2]) « Мира искусства » я вся встрепенулась : новая работа Шестова — и на ту же тему... Пишу в редакцию, спрашиваю адрес. Ответ : Шварцман, Лев Исаакович, Киев, там-то.

Шварцман ? Ну что ж... « Какое странное письмо вы мне написали ». (Так начиналось первое его в ответ на мое). « Кто вы ? Есть ли у нас общие знакомые ? Откуда вы узнали мой адрес ? » Наивные вопросы безвестного литератора ! Так завязалась наша долгая переписка. Каждый месяц, а то и чаще, мелко исписанные два листика... Из всего погибшего в 17 году в московской квартире, мне всего больше щемит душу потеря тоненькой пачки шестовских писем того раннего периода. Не то, чтобы они были мне дороже других, наоборот : потому, что они всегда не удовлетворяли меня, я, досадливо прочитав, и ответив, больше не возвращалась к ним и позже никогда не перечла их. Его книга кончалась так : « Нужно искать того, что выше состояния, выше добра. Нужно искать Бога ». И вот этого я и требовала от него в упор в каждом моем нетерпеливом письме. А он в своих ответах — на попятную, топчется на месте, изменяет обещанию... Теперь я взглянула бы иначе на эти странички, ненасыщавшие меня, когда я корыстно искала в них помощи себе.

***

---

2) Книга Шестова « Достоевский и Нитше » была по частям напечатана в журнале « Мир Искусства » в 1902 году в №№, 2, 4, 5-6, 7, 8, 9-10.

В первый раз я увидела Шестова в 1903 году в Швейцарии, в Интерлакене. Два года переписки — откровения я от него уж не жду! Но, свесившись из окна отеля, с волнением смотрю на дорогу от вокзала, по которой он придет. Как я его узнаю? Конечно узнаю. Еврей. С опаской жду типичное московское адвокатское лицо: очень черный волос, бледный лоб. Но нет: он пришел как из опаленной Иудейской земли — темный загар, рыже-коричневая борода и такие же курчавящиеся над низким лбом волосы. Добрые и прекрасные глаза. Веки чуть приспущены, точно отгораживая от всего зримого. Позднее, в своих бесчисленных разговорах с Ш. я заметила, что для него не существует искусства, воспринимаемого глазом: ни разу он не упомянул ни об одной картине. Доходчива до него только музыка да слово. Ему 38 лет — он и не кажется старше, но почему какая-то надломленность в нем? Полдня мы провели гуляя, обедая, говоря без умолку — непринужденно, просто, дружески.

Только так, только встретив, наконец въяве давнего уже друга, поймешь, что не строем его идей решается выбор, и даже не лицом, не внешностью, а голосом, тембром голоса. Вся навстречу первому звуку — так вот твоя душа!

Поразил меня его голос — хрипловатый, приглушенный, весь на одной ноте. Сразу пришло на ум сравнение: так скрежещет морской песок, когда волна прихлынет и отхлынет опять и тянет его по широкому взморью за собой, в глубину. Пленил этот его затягивающий в свою глубину голос. Тут же в наше первое свидание он рассказал мне, что в юности со страстью пел, готовился на сцену и сорвал, потерял голос.

После нашей встречи в Швейцарии, Шестов стал появляться в Москве, всем полюбился у нас в семье.

К 906-7-му году его приезды участились, он живал в Москве по неделям и потом снова уединялся за границей. Мы не знали тогда, что здесь в семье одного журналиста растет гимназистик, сын Льва Исааковича. Этот такой чистый человек нес на совести сложную, не вполне обычную ответственность, от которой может быть и гнулись его плечи, и глубокие морщины так рано старили его.

Нередко, приходя к нам вечером, он приводил с собой « шестовцев », как мы с сестрою их прозвали. Молчаливый народ, неспаянный между собой, а с ним, с Шестовым, каждого порознь связывали какие-то вовсе не литературные нити.

Милее всех была мне Бутова, артистка Худ. театра, высокая и худая с лицом скитницы. Мы стали видеться и в отсутствие Льва Исааковича. Большая, убранная кустарными тканями комната с окнами на Храм Спасителя. В шубке, крытой парчей, она тихо двигается, тихо говорит на очень низких нотах. От Худ. театра культ Чехова. Потчует. « Возьмите крыжовенного — любимое Антона Павловича ». А культ Шестова ? Кажется от какой-то неисцелимой боли жизни, да от жажды Бога, но в последней простоте, вне шумихи современного богоискательства. Слова скромны и просты, а внутри затаенное кипение. Зажигала в углу рубиновую лампадку. Была прозорлива на чужую боль. Глубоко трогал созданный ею образ юродивой в « Бесах » Достоевского. Когда в 22 году после пятилетнего промежутка я попала в Москву, я узнала, что она умерла в революционные годы, что перед смертью пророчествовала в религиозном экстазе. Скитница обрела свой скит.

Но были и другого рода люди. Красивый еврей Лурье, преуспевающий коммерсант, но и философ немножко, в то время увлеченный « Многообразием религиозного опыта » Джемса, позднее им же изданным. Хмурый юноша Лундберг, производивший над собой злые эксперименты : проникнув в Лепрозорий ел с од-

ной посуды с прокаженными, потом в течение месяцев симулировал немоту, терпя все вытекающие отсюда последствия и унижения. Хорошенькая и полногрудая украинка Мирович, печатавшая в журналах декадентские пустячки. Вся — ходячий трагизм. Заметив золотую на мне скромную брошку — якорь — значительно произнесла: « Вы не должны носить якорь. Вам к лицу безнадежность ». Я уж готовилась услышать торжественное « lasciate ogni »... или как это в парафразе Шестова? Нет, Льву Исааковичу вкус не позволил бы призывать приятельницу к безнадежности! Да и не вкус один. В его отношении к близким ему людям ни тени позы или литературного учительства (в те годы это в диковину) — просто доброта и деловитая заботливость. Одного он выручал из тюрьмы и отправлял учиться к самым-то ортодоксальным немцам, ничуть не трагическим, другому — беспомощному писателю — сам тогда еще никому не известный, добывал издателя, помогал деньгами, разбирал семейные драмы. Все это без малейшей чувствительности. И сам он такой деловой, крепкими ногами стоящий на земле. Притронешься к его рукаву — добротность ткани напомнит о его бытовых корнях в киевском мануфактурном деле. Когда садится к столу — широким хозяйским жестом придвинет себе хлеб, масло, сыр... Сидит, так сидит. Так не похож на птичьи повадки иного поэта-философа: вот-вот вспорхнет... Во всем его облике простота и в то же время монументальность. Не раз при взгляде на него мне думалось о Микель-Анджело, то ли о резце его, то ли о самом одиноком флорентинце. Неужели ни один скульптор так и не закрепил его в глине и мраморе? [1]).

Шестов не заражен кружковщиной, как многие тогда. Смотрим с ним очередную лиловую книжку « Нового пути » (журнал мистиков — модернистов). Я

1) Домогацкий сделал бюст Шестова (1915-1917 гг.?) из уральского мрамора. Бюст находится в Третьяковской галерее.

со всем пылом пристрастия: «Только здесь сейчас и жизнь!» А он в ответ: «Так мы с вами думаем, а посмотрите у «Нов. пути» 5 тыс. подписчиков, а у «Русск. богатства» — тридцать (цифры привожу примерно). Значит другим-то нужно другое». Негодую. Довод от количества мне, конечно, неубедителен! Да, трезв он, но эта трезвость и эти его приятели в разных лагерях — не от глубокого ли равнодушия ко всему, что не сокровенная его тема? Как-то пригласили его в Москву прочесть отрывки из новой книги в литературно-художественном кружке. Он доверчиво приехал, не зная даже, кто устроители и какова публика. Я, внутренно морщась, сопровождала его в эти залы, устланные коврами, куда между двумя робберами заглядывают циники присяжные поверенные и сытые коммерсанты, да шмыгают женщины в модных бесформенных мешках. Едва ли десять человек среди публики знали его книги и его идеи. Недаром один оппонент — пожилой bon-vivant в конце прений заявил, что он совершенно согласен с докладчиком и тоже считает, что нужно срывать цветы удовольствия...

Такой бедный, наивный, издалека-далека пришедший, стоял Лев Исаакович. Но едва он начал читать — откуда эта мощь акцента и голос, вдруг зазвучавший глубоко и звучно. Слушая, я уж не как младшая, а как старшая думала: сколько же ты не взял от жизни, что было в ней твоего!

Я то и дело препиралась с ним: вслух, про себя. Прекрасный стилист? Да, но так гладок его стиль, как накатанная дорога — нигде не зацепишься мыслью. А что последняя книга «Апофеоз беспочвенности» написана афористически — так это только усталость. Нет больше единого порыва его первых книг — все рассыпалось... Афоризм — игра колющей рапиры или строгая игра кристалла своими гранями, но игра — разве это шестовское?

Над моими плутаниями в те годы стояло одно имя — Дионис. Боль и восторг, вера и потеря веры все рав-

но, все наваждение Диониса. Делюсь этим с Львом Исааковичем. Впустую. Глух. Его же психологический сыск меня больше не занимает.

И все же он мне ближе стольких. Проблематичность всего, эта бездна под ногами — ставшая привычным уютом, сокрушитель старых истин, превратившийся в доброго дядюшку ! У Теодора Гофмана случались такие казусы. Да, да это именно то слово : я взяла себе Шестова в духовные дядья — не в учителя, не в отцы, против которых бунтуешь, от которых уходишь, а с дядей-добряком — es ist nicht so ernstlich. Пускаясь в опасные мистические авантюры, как-то надежнее, что за тобой, позади утесом стоит Шестов, что стало быть твои дерзания веры крепки его сомнениями. Так молодой богохульник нет-нет, да и вспомнит облегченно, что дома старушка-мать, перебирая четки, спасает его пропащую душу...

В 1909 году, Аделаида, вышедшая замуж, жила за границей. Весною она писала мне : « Вчера мы вернулись из Фрейбурга, где провели два дня. Бродили осматривая пансионы Heim'ы, заходили далеко за город, где рощи едва зеленеют, все время шел маленький дождь, у нас не было зонтика, мы мокли. Красивый городок и кругом мягкие холмы Шварцвальда. Почти недозволенная идиллия немецкого благополучия. А вечер мы провели у Шестова. Накануне Дмитрий один прямо с вокзала зашел к нему, тот встретил его смущенно и сознался под страшной тайной, что у него семья. Он 12 лет женат на русской бывшей курсистке (теперь она доктор) и у него две дочки 11 и 9 лет. Он должен скрывать эту семью из-за отца, которому 80 лет и он не перенес бы такого удара, что она не еврейка и потому до его смерти они решили жить за границей. Я видела и жену его — лет 38, русское акушерское лицо, молчащая, но все знающая, что интерес-

но ему (и о Мережковских, и о декадентах), гладко причесанная, с затвердело-розовым лицом. Девочки славные, светловолосые. Он ходит с ними в горы, учит их русскому и, знаешь, странно, — ему очень подходит быть семьянином. Сам он мне показался каким-то стоячим. Помни же, что его брак т а й н а, если это дойдет до Киева или его знакомых — он не простит».

Так объяснялась загадка долголетнего житья Шестова за границей, почему-то никогда не связываемая мною с женщиной. И мы несколько лет честно берегли эту тайну. Вероятно и не мы одни. 12 лет назад? Значит в 1897 году. Позднее я узнала, что это было время глубочайшего отчаяния Льва Исааковича, его внутренней катастрофы. Он скитался один по Италии. В каком-то городке настигла его русская студенческая экскурсия. Разговорились в ресторане, и он, как прибывший ранее, в течение двух дней служил ей чичероне. Какая-то трагическая черта в его лице поразила курсистку-медичку, и когда ее товарищи двинулись дальше, она осталась сиделкой, поддержкой никому не известного молодого еврея. Вероятно тогда она и вправду уберегла Льва Исааковича, но может быть и позже не раз ее спокойствие, трезвость, самоотвержение служили ему опорой. Вот какая была эта Анна Елеазаровна с затвердело-розовым лицом!

В том же году осенью и я побывала за границей. Я металась и внутренне и внешне. Пожив у сестры в Германии, вдруг сорвалась и решила вернуться домой морем, через Грецию (запоздалое паломничество к Дионису!). Проезжая Швейцарией, заехала к Шестову, который жил теперь в Coppet в двухэтажном домике — его приюте вплоть до войны. Жена его была где-то во Франции, получая последние докторские licences. Внизу, в идеально чистой кухне пожилая немка накрывала на стол. Лев Исаакович, отозвав меня в сторону, подробно объяснил мне, что они здороваются с ней за руку и обедает она с ними за



Лев Шестов

одним столом. Через несколько часов в глубокой рассеянности объяснил мне все это вторично. Трогательна была эта забота о ближнем, продиравшаяся сквозь омертвелость души. Мне уж было не ново, что в последние годы спала та могучая творческая волна, которая в молодости вынесла его из тяжелого кризиса, но никогда я не видела его таким опустошенным. И я сидела против него нищая, скованная своим неизжитым личным. День тянулся бесконечно. Гуляли с румяными девочками. Говорили об ужасах реакции в России, Шестов, морщась от боли, но не видя, не ища связи между этими внешними бедствиями и путями духа.

Была еще сестра его, д-р философии — молодая и молчаливая. Был зять — еврей, долго и мечтательно игравший нам вечером на рояле в маленьком салончике верхнего этажа. Потом все разошлись, а мы с Львом Исааковичем все сидели и я не могла оторвать глаз от его выразительных пальцев, мучительно теребивших страницы книг. С тоской спрашивала себя, спрашивала и его, будет ли ему еще пробужденье?

И вот на берегу того же Женевского озера, мы опять встретились и оба — другие.

Март и апрель 12-го года я прожила в Лозанне с братом, лечившимся у ушного специалиста. Брат — жених. Счастлив мыслью о своей чернокосой красавице. Я счастлива на иной лад. Насилие над своим сердцем, проталкивание себя в аскетическую религиозную щель, потом бунт, кидание из стороны в сторону — и вдруг: — под влажным весенним ветром — стряхнуть с себя как прошлогодний лист и бунт этот и это насилие... Разлиться вширь — во всем угадывать новую значительность. Сидя в столовой за отдельным столиком мы с братом смехом, веселой болтовней нарушаем чинность швейцарского обеденного часа.

Я списалась с Шестовым. Он приехал, вошел к нам в горном костюме, ноги в клетчатых гетрах, помолодевший, оживленный. Часа четыре проговорив, во-

преки обыкновению делясь даже интимными переживаниями своими. А потом с такою же горячностью вникая в философские споры Москвы. Рассказал, что второй год с интересом читает средневековых мистиков, но больше всего Лютера, в котором нашел не пресного реформатора, а трагический дух сродни Ницше, сродни ему. Мы стали видаться. От великой нежности к Шестову, я даже читаю толстенный том : Денифль-католик — о Лютере.

Мне особенно памятно, с каким подъемом в одну из встреч Шестов говорил об Ибсене, выделяя заветную его тему : страшнее всего, всего гибельней для человека отказаться от любимой женщины, предать ее ради долга, идеи. От женщины, т. е. от жизни, что глубже смысла жизни. Указывая на перекличку этой темы у Ибсена через много десятилетий от его юношеских « Северных богатырей » и до самых последних драм « Габриэль Боркман » и « Когда мы мертвы »... Из этой мысли позднее (а м. б. тогда же) выросла статья Шестова об Ибсене.

За долгие годы моего знакомства с Шестовым я не знала ни об одном его увлечении женщиной. И все же мне думается, что в истоке его творческой жизни была катастрофа на путях любви. Может быть страдание его было больше страданием вины, чем муками неосуществившегося чувства. Может быть по пустынности своего духа он вообще неспособен был к слиянию... Всякое может быть ! Но в эту весну мне казалось, что какая-то волна живой боли и нежности растопила его мертвевшую душу. Не весть ли о смерти той девушки его юности, которая уже давно лишь наполовину числилась среди живых ?

Весна была холодная. Яблоня, персик, вишня зацвели поздно, но как внезапно, пьяняще, белым дымом застилая все дали и близи. Мы с Шестовым шли меж горных складок тропинкой под сплошным бело-розовым шатром. Помню его возбуждение : « Это я — скептик ? — пересказав мне какую-то о себе критику,

— когда я только и твержу о великой надежде, о том, что именно гибнущий человек стоит на пороге открытия, что его дни — великие кануны... »

Вернувшись с прогулки мы обедали за общим табльдотом. Среди других блюд нам подали обычное во французской кухне pigeons. Шестов отказался, и ко мне со своей милой улыбкой : « Я не ем голубя ». В тот период он зачитывался библией. Весь был напитан ею. Раз даже пошел провожать меня на вокзал в Coppet с огромной книгой под мышкой (в его руках она казалась еврейским пятокнижием), чтобы что-то дочитать. Это было в первый день Пасхи. Не столько от благочестия, как от переполнявшей меня радости, я поехала к заутрене в русскую церковь в Женеве. Заутреня, ночная литургия — ранним утром, я заспешила домой к брату. Заехала на час в Coppet. Лев Исаакович обрадовался моему неожиданному раннему приходу. Уговаривал остаться и отправиться, наконец, по соседству в Ферней, в места Вольтера. Я отказалась. Он поддразнивал, говоря, что я боюсь кощунства — Вольтер в такой день ! И вдруг с внезапной серьезностью сказал, что недаром это соседство, что его, Шестова, дело — навсегда обличить Вольтерову мысль, ползучую, хихикающую. Так странно прозвучали эти слова у Шестова, обычно не склонного к символизации или к провозглашению какой-то своей задачи !

В военные годы теснее сблизился в Москве маленький кружок друзей — Вяч. Иванов, Бердяев, Булгаков, Гершензон и некоторые другие.

Мы с сестрой были дружески связаны с каждым в отдельности. Маленький островок среди тревожно катившихся волн народного бедствия. Это не значит, что внутри кружка царило благополучие и согласие. Нет, в нем кипели и сталкивались те же противоречия, что и во мне... С 14-го года в Москве поселился и Шестов

с семьей. С одними из этого кружка он был близок и раньше, сближение с другими было ему ново и увлекательно. И эти люди, порой спорившие друг с другом до остервенения, все сходились на симпатии к Шестову, на какой-то особенной бережности к нему.

Звонок. Он в передней — и лица добреют. И сам он до страсти любил словесные турниры. Не спеша, всегда доброжелательно к противнику, развертывал свою аргументацию — точно спешить некуда, точно он в средневековом хедере и впереди годы, века, точно время не гонит... Зоркий на внутренние события души — ветра времени Лев Исаакович не слышал. И чем догматичней, чем противоположней ему самому собеседник — тем он ему милее, обещая долгий спор, долгий пир, обилие яств...

Нас с сестрой особенно тешило эстетически, когда сходились Шестов и Вяч. Иванов — лукавый, тонкий эллин и глубокий своей одной думой иудей. Мы похаживали вокруг, подзадоривали их, тушили возникавший где-нибудь в другом углу спор, чтобы все слушали этих двоих. И парадоксом казалось, что изменчивый, играющий Вяч. Иванов строит твердыни догматов, а Шестов, которому в одну бы ноту славить Всевышнего, вместо этого все отрицает, подо все ведет подкоп. Впрочем, он этим на свой лад и славил.

Так долго безвестный, потому что он не принадлежал ни к какой литературной группе, шел всегда особняком, в этим годы Шестов сразу приобрел имя: журналы ему открыты, выходит полное собрание сочинений, его читают... Он не скрывал своего наивного удовлетворения, а нас двух веселило питать эту маленькую слабость милого человека. « Лев Исаакович, когда вы можете придти к нам? Есть такая девочка, т. е. она уж писательница непечатанная — вот (подсовываем ему « Королевские размышления », « Дым, дым... ») — она умоляет познакомить ее с вами, вы сыграли огромную роль в ее жизни. Придете во вторник? » И вот мы их оставляем вдвоем, и Ася, часто

мигая светлыми ресницами близоруких глаз, говорит, говорит ему что-то умное, острое, женственное.

Иногда наши дружественные сборища перекочевывали к Шестову в один из Плющихинских переулков, где деревянные дома строены на манер скромных помещичьих. Просторно и домовито в столовой и еще какой-то комнате: только самое необходимое, без каких-либо эстетических потуг. Анна Елеазаровна у вместительного самовара. Но кабинет обставлен по-геллертерски. Раз я целый вечер под говор курящих, бегающих собеседников просидела в кожаном кресле Льва Исааковича, в кресле с строго рассчитанным выгибом спинки, локотников; нажмешь рычажок — выдвинется пюпитр, другой — выскочит подножка для протянутых ног. Покоит. Не встать. Пожалуй, и не нафилософствуешь в таком кресле. Другие русские философы писали, присев на каком попало стуле, а у Влад. Соловьева кажется и стула своего не было. Но Лев Исаакович вступил в барочный период творчества: обложен фолиантами, медленно и густо текут периоды, сдобренные латинскими цитатами, — из-за словесных фиоритур не сразу доищешься сути — не то что в простодушных его книгах-первенцах, где карты сразу на стол. Чем не барочная штука его статья « Вячеслав Великолепный ? »

Ему 50 лет. Мне кажется он в первый раз в жизни почти счастлив, спокоен, вкушает мирные утехи мысли, дружества, признания...

Но разве справедливо было бы на этой странице оборвать рассказ о Шестове ? Как-то зимою 16-го — 17-го года мы снова собрались у него — среди знакомых писательских лиц красивый тонкий юноша в военной форме. Сын Сережа. Весь вечер я только и следила за влюбленными взглядами, которыми обменивались отец с сыном. И этот звонкий, срывающийся юношеский голос среди всех до скуки знакомых. Не знаю, что он говорил. Что-то смелое, прямое. Все равно, что.

Дней через десять в нашем кружке телефонная

тревога: один звонит другому, третьему, тот опять первому... В трубку невнятно, спотыкающимся от волнения голосом Гершензон нам: « Вы слышали? Сережа Шестов... Да, верно ли?... Кто сказал? Убит... А он — что? » Он — ничего. К нему телефона нет, да разве об этом позвонишь? Прислуга открыв дверь в Плющихинском особняке, кому-то из друзей сказала: « Лев Исаакиевича дома нету ». — Анна Елеазаровна? и ее нету. Через день — опять — нету. Мы с сестрой, мучаясь, писали ему письмо. Не знаю, сколько времени прошло — в один солнечный, по-весеннему каплющий день — он сам. В привычной своей плоской барашковой шапочке, и лицо, давно ставшее дорогим — все то же. Не потому ли, что скорбь уж провела раз навсегда все борозды — глубже нельзя, горше нельзя... Несколько простых слов о Сереже — о себе ничего — а потом о другом, но, ах, с каким трудом ворочая ненужные камни идей.

Мы расстались в мае 17 года. До осени. Накануне моего отъезда в Крым, я ехала с ним в трамвае. Мы говорили. Хлынувшая солдатская волна разделила нас. Меня столкнули. Он остался и издали, кивнув мне из двинувшегося вагона, прокричал: « Мы договорим ». Мы не договорили.

Когда я через пять лет попала в Москву, он уж давно был за границей.

В следующие годы мы обменялись несколькими письмами. Привожу почти без пропусков два последних, написанных из Парижа, в которых настойчиво звучит его тема.

14/V-26. Дорогая Евгения Казимировна. Попробую ответить на ваше письмо, хотя это и трудно. Ἀγὼν ἔσχατος καὶ μέγας» — великая и последняя борьба вероятно у Плотина и была тем, о чем вы пишете. То есть прежде всего не борьбой с « другим » или с « другими », а борьбой с чем-то, что внедрилось в душу человека и хочет править им, т. е. не хочет, а правит. Он, говоря о Плотине, обмолвился (наверное

обмолвился, не нарочно сказал) такой фразой : Плотин потерял безусловно доверие к мышлению. Тысячу лет греки безусловно доверяли мышлению и вдруг последний их великий философ потерял это доверие. А ведь он сам удивительный несравненный мастер мышления ! И никогда бы не решился и вопрос такой поставить : можно ли верить мышлению или нельзя ? Ибо если бы он спросил, то должен был бы сказать себе, что не доверять мышлению нельзя, что у человека нет судьи, кроме его разума. И все-таки что-то, как он сам говорит, « толкнуло » его туда, в ту область, которая « по ту сторону разума и мышления » (тоже его слова). В том и есть его « великая и последняя борьба ». Помните как у апостола Павла, когда Бог послал Авраама в обетованную землю : « и пошел Авраам, сам не зная куда ». И Плотин, когда заподозрил разум и разумные пути, тоже пошел, не зная куда. Но какая огромная и напряженная борьба потребовалась, чтобы свалить разум. И какая борьба сейчас требуется, чтобы идти не туда, куда вас зовет разум, а идти на авось, не зная куда. Так что борьба, о которой идет речь, не с Римом, не с людьми, а, говоря словами Паскаля, с « наваждением » — enchantement. Проснуться от кошмара, который называется « действительностью » и о которой Гегель сказал « was wirrklich ist — ist verkünftig ». Не знаю, вразумительно ли говорю. Да и как вразумительно говорить обо всем этом.

...Я как и прежде в splendide isolation, и теперь, под старость, это, конечно, вещь не очень приятная. Все всегда бранят и сердятся. Пишите. Ваши письма большая, редкая радость. Жму вашу руку. Ваш. Л. Ш.

И через год 18/V-27.

Дорогая Е. К. Ваше письмо пришло сюда когда меня здесь не было. Я ездил в Берлин — там у меня мать живет. Чтобы вернуть расходы по путешествию прочел там две лекции « Влад. Соловьев и религиозная философия ». Я здесь в течение зимы читал целый курс

на эту тему [1]) (тоже по-русски в Сорбонне), а во Берлине пришлось рассказать это в сокращенном виде. Вот вам сразу несколько страничек из моей жизни. Я говорю Н.А. /Бердяеву/ « до чего мы с тобой пали — под старость профессорами сделались ». Он со мной не соглашается, он даже гордится своим профессорством. Но я — увы ! — не могу гордиться. Разве можно профессорствовать о « земле обетованной ». Помните в послании к евреям (XI, 8) « верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие; и пошел, не зная куда идет ». Об этом только и думать хочется. Хочется идти, и идешь, не зная куда идешь. А когда пытаешься другим рассказать — на тебя смотрят такие недоумевающие и грустные глаза, что язык иной раз прилипает к гортани и начинаешь завидовать В. Соловьеву, с которым только что спорил и завидуешь именно в том, что он знал куда идет. А потом опять о том же начинаешь и говорить и писать. Недавно я об этом по-русски напечатал « Неистовые речи » [2]) (о Плотине). Нужно ли это кому — не знаю. — Недавно встретил я одного молодого француза, который год назад вернулся из Китая. Он рассказал мне, что перевел на китайский язык почти всего Достоевского и что китайцы им зачитывались. А потом еще сообщил мне, что как приложение к Достоевскому выпустил мою книгу : « Les révélations de la mort ». И что моя книга мгновенно раскупилась и китайцам очень подошла. « Sans doute » пояснил он мне, « ici on vous admire beaucoup, mais ici on se tient à l'écart de vous », а китайцы так вот, мол, полностью приняли. Так что, как видите, мое место вот где — в Китае, и я, пожалуй, тоже выхожу евразийцем. — Нужно бы вам написать о разных движениях в ду-

---

1) Этот курс был напечатан в журнале « Современные Записки № 33 (1927) и № 34 (1928) под заглавием « Умозрение и Апокалипсис ».

2) Версты № 1, Париж 1926.

ховных областях — во Франции, Германии. Но я не очень могу следить за всем — времени мало, и силы тратятся на другое. Мне впрочем кажется, что ничего особенно значительного не происходит. Работают много, очень много, но больше заняты практикой, зализывают раны, устраиваются наново. И в этом очень преуспевают. Даже в Германии — ей ведь труднее, чем другим странам. Люди ходят сытые, одетые, обутые — театры, кино, кафе переполнены. Лет через пять о войне, пожалуй, и совсем забудут ».

Лет через пять у власти стал фашизм, и война при дверях. Плохим пророком был Шестов !

После этого письма — ничего. Молчание. Тын между ними и нами все выше, неприступней. Что письма — дыханию не передохнуть.

И вот кончилась жизнь. Не его еще, не моя. Жизнь наших отношений. Как всегда едва повернешь последнюю страницу — жгучий укор себе : зачем так мало дала ? так скупо ?

VII

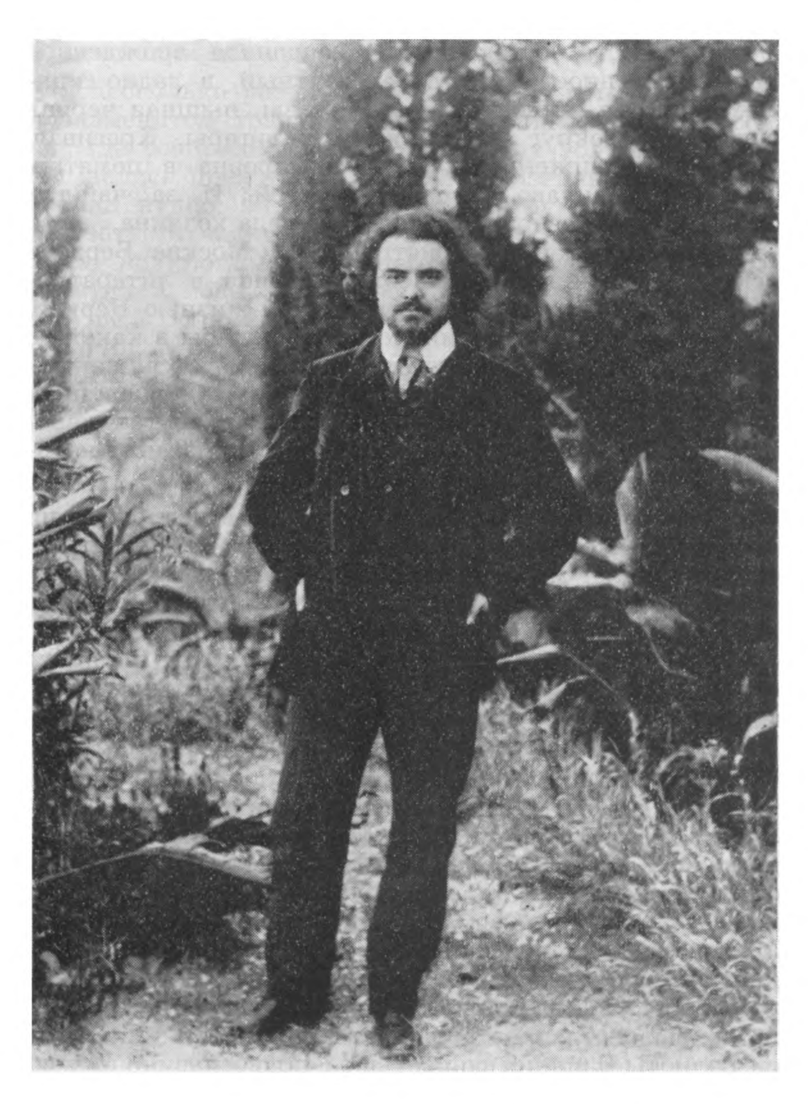
Н. А. БЕРДЯЕВ

Вечер. Знакомыми Арбатскими переулочками — к Бердяевым. Квадратная комната с красного дерева мебелью. Зеркало в старинной овальной раме над диваном. Сумерничают две женщины : красивые и приветливые — жена Бердяева и сестра ее. Его нет дома, но привычным шагом иду в его кабинет. Присаживаюсь к большому письменному столу : творческого беспорядка никакого, все убрано в стол, только справа-слева стопки книг. Сколько их : ближе — читаемые, заложенные, дальше — припасенные вперед. Разнообразие : Каббала, Гуссерль и Коген, Симеон-Новый богослов, труды по физике, а поодаль непременно роман на ночь — что-нибудь изысканное у букиниста : Мольмот Скиталец. Прохаживаюсь по комнате : над широким диваном, где на ночь стелется ему постель, распятие черного дерева и слоновой кости — мы вместе его в Риме купили. Дальше на стене акварель — благоговейной рукой изображена келья старца. Рисовала бабка Бердяева : родовитая киевлянка, еще молодой она подпала под влияние схимника Парфения. Было у него необычное в монашестве почитание превыше Христа и Богоматери — Духа Святого. Иносказаниями учил

жизни в духе. Молодая женщина приняла тайный постриг, т. е. продолжая жить в миру, неся обязанности матери, хозяйки богатого дома, втайне строго выполняла монашеский устав молитвословия и аскетизма. Муж лишился красавицы — жены и это так озлобило его, что, даже после ее смерти, в старческом слабоумии, прогуливаясь с палочкой по Крещатику, замахивался на каждого встречного монаха — сколько их встречалось в старом Киеве! Дети выросли неверами: отца Бердяева я видела стариком — он смешил запозданным стародворянским вольтерьянством. А вот внук... Со стороны матери другая кровь — родом Шуазель, родня в Сен-Жерменском предместье, хоть и пообедневшая, но столь чванная, что еще в начале этого века разъезжала по Парижу в отчаянно громыхавших колясках, презирая резиновые шины как буржуазно-демократическое измышление. Душнее, слепее круга не сыщешь, но вдали — позади пышных царедворцов — предки рыцари, мечом ковавшие Европу своего времени. Много мертвых и цепких петель спутали, держат Бердяева. Отсюда может быть эти частые пароксизмы порывания со вчерашним уютом, со вчерашним кругом людей и идей, отсюда этот привычный жест как бы высвобождения шеи из всегда тугого крахмального воротника. А уют и старина сами собою обрастают вокруг него... Так и живет он среди двух борющихся тенденций — разрушать и сохранять.

Когда я с ним познакомилась, еще не было этой памятной многим московской квартиры, из которой в двадцать втором году я провожала его в изгнание. Он был бездомным, только что порвавшим с петербургским кругом модернистов, с «Вопросами жизни», где был соредактором с Мережковским, тянувшими его в свое революционно-духовное деланье. Бездомный, переживший лихорадку отвращения и вдруг опять помолодевший, посветлевший, полный творческого бурления — как он мне был нужен такой весною девятого года...

С осени он с женою поселился в Москве, в скромных



Н. Бердяев

меблированных комнатах — всегда острое безденежье — но убогость обстановки не заслоняла врожденной ему барственности. Всегда элегантный, в ладно сидящем костюме, гордая посадка головы, пышная черная шевелюра, вокруг — тонкий дух сигары. Красивая, ленивая в движениях Лидия Юдифовна в помятых бархатах величаво встречала гостей. И за чайным столом острая, сверкающая умом беседа хозяина.

Совсем недавний христианин, в Москве Бердяев искал сближения с той, не надуманной в литературных салонах, а подлинной и народной жизнью Церкви. Помню его в долгие великопостные службы в какой-то церкви в Зарядье, где умный и суровый священник сумел привлечь необычных прихожан — фабричных рабочих. Но как отличался Бердяев от других новообращенных, готовых отречься и от разума, и от человеческой гордости.

Стоя крепко на том, что умаление в чем бы то ни было не может быть истиной, быть во славу Божию, он утверждает мощь и бытийственность мысли, борется за нее. Острый диалектик — наносит удары направо, налево, иногда один быстрый укол... Душно, лампадно с ним никогда не было. И чувство юмора не покидало его. Случалось, мы улыбаемся с ним через головы тогдашних единомышленников его, благочестивейших Новоселова и Булгакова.

В маленькую мою комнату на Солянке в разные часы дня заходит Бердяев, взволнованно спешит поделиться впечатлением. Под Москвой была Зосимова Пустынь — как в дни Гоголя и Достоевского к оптинским старцам, так теперь сюда в Зосимову Пустынь шла за руководством уверовавшая интеллигенция Москвы. После поездки туда, с каким мучительным двоящимся чувством пересказывал мне Бердяев свои разговоры с особо чтимым отцом Алексеем, ни на миг не закрывая глаз на рознь между ними. А как хотел он полноты слияния со святыней православия ! Подавленность, — но сейчас же и гордая вспышка : « Нет,

старчество — порождение человеческое, не Божеское. В Евангелии нет старчества. Христос — вечно молод».

Несколько раз я была с Бердяевым и его женою в знаменитом трактире «Яма» (кажется, на Покровке), где собирались сектанты разных толков, толстовцы, велись прения; захаживал и казенный миссионер, спорил нудно, впрочем скромно. Кругом за столиком с пузатыми чайниками слушатели больше мещанского вида, но иногда и любопытствующие интеллигенты: религия в моде. Споры об аде — где он, реален или в душе? Волнует их вопрос о душе, о ее совершенствовании, о пути к нему: все они за эволюцию «Бессмертники». Это — мистики, для них смерти уже нет, и греха нет. Сияющий старик-говорун в засаленном пиджачке: «Не могу грешить, и хотел бы, да не могу!» Никита Пустосвят — в лохмотьях, как босяк — у этого какая-то путаная мистика времени: двигая перед лицом темными пальцами, трудно роняет слова — какие сочные — о том, что смерти нет. Сколько индивидуальностей, столько вер. Та же страсть к игре мысли у этих трактирных, малограмотных, что и у философов, заседающих в круглом зале университета, а может быть и более подлинная. Случалось, когда посторонние разойдутся, уйдет миссионер, останутся только самые заядлые, сдвинут столики, и Бердяев острыми вопросами подталкивает, оформляет их мысль, а потом не казенным своим, огневым словом говорит о церкви, о вселенскости.

В эти годы возникло религиозно-философское издательство «Путь»: в программе его — монографии о разных самобытных, не академических мыслителях русских: Чаадаеве, Сковороде, Хомякове и вообще изучение русской религиозной мысли. Во главе издательства те же люди, что составляли ядро рел. фил. общества. Не легковесная петербургская «христианская секция» — это затеяно солидно, по-московски, по-ученому и на солидной финансовой базе. Маргарита Кирилловна Морозова — красивая, тактично-тихая,

с потрясающе огромными бриллиантами в ушах, почему-то возлюбила религиозную философию и субсидировала издательство. В ее доме бывали и собрания рел. фил. общества, президиум заседал на фоне Врубелевского Фауста с Маргаритой, выглядывающих из острогранной листвы. Умерший муж Морозовой был первым ценителем и скупщиком Врубеля. В перерыве по бесшумным серым коврам через анфиладу комнат шли в столовую пить чай с тортами — не все, а избранные. Морозова с величавой улыбкой возьмет меня под руку и повлечет туда вслед за другими, — она, вероятно, и имени моего не знала, но видела, что со мной в дружбе и Бердяев, и Булгаков, и старик Рачинский, и славнейший гость петербургский Вячеслав Иванов : тут уже, у стола с зеленой скатертью, завязывался у меня оживленный разговор с одним, с другим. Наскучив темными одеждами, я сделала себе белое платье строгого покроя, отороченное темным мехом. Друзья видели в этом символ... Не было у меня тщеславней поры, чем эта, « о Божьем », и с подлинной тоской к Богу обращенная. Но подлинность эта была только наедине, в мои горькие или озаренные часы, с Бердяевым, потому что он и сам, чересчур сложный, видел насквозь путаную сложность мою. Все же другие — Булгаков, Эрн — с наивностью умилялись моему « обращению » и отходу от грехованого декадентства, и я, не совсем лукавя, такою с ними и была.

Захаживал ко мне и старик Рачинский, просвещал в православии. Изумительная фигура старой Москвы: дымя папиросой, захлебываясь, целыми страницами гремел по-славянски из Ветхого завета, перебивал себя немецкими строфами Гете, и вдруг размашисто перекрестясь, перебивал Гете великолепными стихирами (знал службы на зубок), и все заканчивал таинственным, на ухо, сообщением из оккультных кругов — тоже ему близких. Подлинно верующий, подлинно ученый, и, что важнее, вправду умный, он все же был

каким-то шекспировским шутом во славу Божию — горсткой соли в пресном московском кругу. И за соль, и за знания, и за детскую веру его любили.

2.

Встречи, разговоры, сборища у тех, у других и вдруг, разом все для меня поблекло, обезвкусилось. Издавна знакомое чувство отвращения ко всему, и прежде всего к себе самой... Почти наприязнь к Бердяеву. Уезжаю в Судак, перевожу немецкого мистика, заказанного мне издательством « Путь » — перевожу, глушу себя. Не отвечаю на письма Бердяева. И вдруг он сам приезжает — и с первой же встречи опять как близок ! То, что во мне едва, и вяло, и бесплодно, всколыхнулось — в нем ярым бунтом : назревает раскол с « Путем », с московскими православными. Рвутся цепи благочестия, смирения, наложенные им на себя. Боль от еще не пробившейся к свету своей правды.

Глазами вижу эту боль : бледная с длинными ногтями рука — рука мыслителя, не человека земных дел — чаще обычного судорожно впивается в медный набалдашник трости. Говорим полусловами, встречая один другого на полдороге. И в радости ежеминутных встреч растворяется, нет, — заостряется внутреннее противоречие каждого, приближая, торопя новое, освобождающее знание. При этом несоизмеримость наших умов, талантов, воль не играет роли : его огромной творческой активности, видимо, достаточно той малой духовной напряженности, которую он встречал во мне, как мне, чтобы сдвинуться с мертвенной точки, нужна была вся сила его устремленности. Равенство было полное, и равна была взаимная благодарность. Разговаривая, мы без устали, всегда спешным, все ускоряющимся шагом ходили по долине, карабкались горными тропинками. Иногда, опережая меня, он убегал вперед, я, запыхавшись, за ним и видела со спины, как он вдруг судорожно пригибает шею, как бы изнут-

ри потрясенный чем-то. Случалось, мы не заметим, как стемнеет, внезапно над потухшим морем вдали вспыхнет мигающим светом Мэганомский маяк : раз — вспышка, два, три, четыре — нет, и опять, — раз — вспышка. И таинственней, и просторней станет на душе от этого мерного ритма огня. Замолчим, удивимся, что, не заметив, ушли так далеко от дома.

Не впустую было его волнение тех дней и того года вообще — в нем рождалось и, как всегда бывает, рождалось трудно, самое для него центральное : идея творчества как религиозной задачи человека. Может казаться, что мысль эта не нова, — кто не славит творчества ? Однако религиозного оправдания его до Бердяева никогда не бывало. На религиозном пути утверждалась праведность, любовь, но не творчество. Обычно культ игры творческих сил связан с какой-то долей скептицизма, с отрицанием высшего смысла или с бунтом против него. Для него же, для Бердяева, идея творческой свободы человека неразрывно связана с верой в верховный миропорядок, связана со страстным по-библейски богопочитанием. Да, ныне человек в свои руки перенимает дело творчества (мир вступил в творческий период), но не как бунтарь, а как рыцарь, призванный спасти не только мир, но и дело самого Бога. Да и вообще, философскую мысль Бердяева так и хочется охарактеризовать, как рыцарственную : решение любой проблемы у него никогда не диктуется затаенной обидой, страхом, ненавистью, как было, скажем, у Ницше, у Достоевского и у стольких. И в жизни он нес свое достоинство мыслителя так, как предок его, какой-нибудь Шуазель — свою Noblesse, потрясая драгоценным кружевом брызж, считая, что острое слово глубины мысли не укор, без тяжести, без надрыва, храня про себя одного муки противоречий, иногда философского отчаяния. В этом и сила и слабость его. Интимных нот у него не услышишь. Там, где другой философ-мистик обнажит пронзенность своей души, покаянно падет перед святыней, он седлает Христа и

паладином мчится в бой, или — выдвигает его как выигрышную фигуру, как высшее, абсолютнейшее... Не умиляет.

Трещина между Н. Бердяевым и московским издательством все шире, обмен враждебными письмами; он спешит закончить монографию о Хомякове, деньги за которую давно прожиты, строит планы отъезда на зиму за границу, с женою и ее сестрой, на родину творчества, в Италию, добывает деньги, закабаляет себя в другом издательстве, где просто толстая мошна коммерции, где не станут залезать в его совесть... В письмах делится со мною, зовет присоединиться к ним... В гневном письме Бердяев восклицает : « Я не допускаю, чтобы мы разошлись, я хочу быть с вами, хочу, чтобы вы были со мной, хочу быть вместе на веки веков ».

Помню, как над этим письмом у меня буквально — так говорится — брызнули слезы : душа растопилась. Казалось, без этих слов не дожила бы до вечера. Конечно, с ними в Италию ! Но поехать мне удалось только в феврале. Я застала их в Риме — перед этим они долго прожили во Флоренции, объехали маленькие городки. В первый же наш вечер они повезли меня на Яникул, на эту вышку Рима, и оттуда в вечерней заре я смотрела на море красно-коричневых крыш, на дальний Палатин и вспоминала... Но — все бывает не так, как ждешь. Праздника наслаждения Италией с Бердяевым нет. Я опоздала. Два три месяца он переживал, впитывал ее с ему одному свойственной стремительностью, потом щелкнул внутренний затвор, отбрасывая впечатления извне, рука потянулась к перу — писать, писать... А из Киева тревожные письма о болезни матери, о запутанности денежных дел этой обнищавшей и избалованной семьи, которая привыкла к тому, что « Коля » выручит из всех бед, телеграммы,

требующие его возвращения, а здесь — слезы жены, возмущенной эгоизмом стариков : нарушить так трудно давшуюся ему передышку... Мы зажили не по-туристски тревожно. Просыпаюсь утром не отдохнувшая после позднего сидения вечером и спешу опять к нервно озабоченному Николаю Александровичу, разговорить его тревогу, вдвоем пьем кофейную бурду с темными хлебцами (живем в бедном пансионе). Потом идем — не ждем медленных сестер — идем разыскивать мозаики по старым базиликам. Заходим послушать служение братьев-доминиканцев : в черном с белым они ритмично движутся, читают в нос — в красивых лицах, в наклоне голов что-то античное, не христианское. А рядом — украдкой вижу — Бердяев закрывает лицо нервно вздрагивающей рукой. Молится? На улице все мучительно забылось, мы шли и говорили о творчестве. Он : « Весь ренессанс — неудача, великая неудача, тем и велик он, что неудача : величайший в истории творческий порыв рухнул, не удался, потому что задача всякого творчества — мир пересоздать, а здесь остались только фрески, фронтоны, барельефы — каменный хлам ! А где же новый мир ? » Заспорив, мы запутались среди трамваев на Пьяцца Venezia, долго не могли попасть в свой. А ближе к дому, на нашем тихом холме, бросив меня, он побежал вперед, ожидая новой зловещей телеграммы. И потом он не любит Рима — « вашего Рима » — мне с вызовом. Мертвенная скука мраморов Ватикана с напыщенным Аполлоном Бельведерским, грузные ангелы, нависшие над алтарями барочных церквей... Душа его во Флоренции, Флоренция была ему откровением, он то и дело вспоминает ее.

И вот мы вдвоем едем в поезде на несколько дней во Флоренцию : он хочет мне ее показать так, как увидел сам. Флоренция ! Не знаю, люблю ли ее. Благоуханного нет в ней для меня. Как неверно, что Флоренция для влюбленных ! Но постепенно проникаюсь едким вирусом ее. Неутоленность, тоска, порыв. « Но

сперва надо понять откуда, из каких корней это... » Он ведет меня в дома — крепости, купеческие замки, разделенные один от другого проулочком в два метра шириной, бойница в бойницу, а в тесных хоромах только все сундуки расписные : казна, деньги — вот их дворянские грамоты. Одни — скопидомы, другие — расточители. Все стяжатели. Потом виньория — народоправство. Все трезво, жестоко, без мечтательности. И — расцвет искусств и ремесел. Как понять, что в такой полный час истории, в такой корыстной и в упоенно-творческой Флоренции все высшие достижения говорят о том, что нельзя жить на земле, тянутся прочь ? Таков Ботичелли. Как и вся Флоренция, он — дерзновение творчества, создания не бывшего, потому — впервые и сюжеты у него свои, не одни традиционные мадонны, и тоска одиночества потому. Молча стоим перед « Весною », этой бессолнечной, призрачной весною, за которой не будет лета, не будет жатвы. В Уфицци, минуя залы и картины, Николай Александрович быстро ведет меня к одной, им отмеченной. Полайола : три странника, трех разных возрастов, три скорбно-задумчивые головы. О чем скорбь ? Куда их путь ? А вот эта его же на высоком цоколе Prudentia : руки и ноги аристократически утончены, широко расставленные глаза с холодным, невыразимо сложным выражением. Каким ? Оглядываюсь на Бердяева. Впился пальцами в портсигар, давая исход молчаливому волнению. Как же властно над ним искусство ! Флоренция мне ключ к нему. Он — к Флоренции. Но я изнемогала от усталости, от впечатлений. Домой ! Еще десять минут, упрашивает он и влечет меня прочь из Уфицци узкими улочками, где едва разминуться с медленно пробирающимся трамваем, в церковь, в Бадию; не давая мне окинуть ее взглядом, к одной, одной только Филиппиниевской фреске : « Явление Богоматери св. Бернарду ». Женский хрупкий профиль. Но он торопит меня смотреть на ее руку : так глубоко прорезаны пальцы, так тонки, что кажется, сохраняя

всю красоту земной формы, рука эта уж один дух, уже не плоть. И восторг в глазах Бердяева выдает мне его тайну — ненависть к плоти, надежду, что она рассыпется вся. Помню через несколько лет, в 15-16-ом году, когда он впервые познакомился с кубизмом в живописи, с картинами Пикассо, с каким волнением приветствовал он то, в чем увидел симптом разрушения материи, крепости ее. До хрипоты кричал среди друзей о « распластовании материи », о « космическом ветре ».

Беру его под руку, чтобы умерить, затормозить его бег. « Да, да, конечно; вы Рима любить, понять не можете... » Но думала я это уже после. И не тогда, когда мы вернулись в Рим : события, вести ускорились и через несколько дней я провожала их в Россию, — его уже преодолевшего внутреннюю борьбу, уже мужественного, жену его, Лидию, с которой в Риме впервые сблизились, заплаканную : точно предчувствуя будущее католичество, она с болью отрывалась от града св. Петра.

Додумала я это в мои одинокие блуждания по Риму. Если Флоренция вся порыв, то Рим — покой завершенности. Создался-то и он жестокой волей Империи, корыстью и грехами пап, замешан на крови и зле, но время что ли покрыло все золото тусклой паутиной, не видно в нем напряжения мускулов, восстания духа — невыразимая, всеохватная тишь. Земля — к земле вернулася.

3.

Не перескажешь все те жизненные сочетания, в которые складывались мои с Бердяевым отношения. Вот мы живем вместе в Москве (912-913 гг). Приютила нас созданная моей подругой школа... Утром и вечером сходились за чайным, за обеденным столом в большом зале вместе с подругой и ее домочадцами, или интимней — в бердяевской комнате, в моей. Это было после



У Бердяева. За дверью М. Цветаева

Италии. Николай Александрович начал писать свою самую значительную книгу « Смысл творчества », весь жил ею. Центральная тема ее — раскрытие творческой личности — сводила его с новыми людьми : его интересовали антропософы, но тут же он жестоко нападал на них, доказывая, что их « антропос » не человек вовсе, не живое единство, а туманное наслоение планов. Но в процессе спора он так раскрыт всему живому в чужой мысли, так склонен увлечься ею, что эти самые антропософы, философски побиваемые им, тяготели к нему. Вопросы гносеологии творчества сводят его с теоретиками искусства из « Мусагета », с Андреем Белым, с молодыми и рьяными неокантианцами — Степуном и другими. Всего труднее ему общение с философами православия : Булгаковым, Эрном, Флоренским : всегдашнее затаенное недоверие с их стороны, а с его — тоже затаенный, но кипящий в нем протест против их духовной трусости. Заходит искусствовед Муратов. Он нам проводник на выставку икон — событие в художественной жизни тех лет, в собрании французской живописи у Щукина. Каждой новой встречей, каждым значительным разговором Бердяев делился со мной, но в многолюдстве, в мелькании городской жизни наши отношения не достигали той остроты, той пронзительности, как при встречах летом, в природе, один на один.

Я возвращаюсь осенью из-за границы после шести месяцев, проведенных сперва у Вяч. Иванова в Риме, потом по лечебным местам с больными из нашей семьи.

Списалась с Бердяевым, условились съехаться с ними по пути в Крым в имении подруги на Украине... Я повторяла себе, внушала себе : да, потому я поехала в Мюнхен, потому вступила в Антропософское общество, что не могу больше жить так, как жила — без ответственности, без подвига. Свобода в вере, свобода

в неверии, слабость дружбы... Слова, слова — а дел нет. Я хочу же, наконец, дела, хочу служить миру. Пусть те, мюнхенские, чужды мне — тем вернее. Тут-то уж не услада... Но ему я ничего не скажу.

С террасы, где уже накрывали к завтраку, несли вареники, сметану, всякую деревенскую снедь, мы вдвоем спустились в широкую аллею, уходящую в степь. Темные липы, рыже-красные лапчатые клены. Говорили о чем-то безразличном, дорожном. Но Николай Александрович, хмурясь, взглядывал на меня и перебил : « Что с тобою ? — что-нибудь случилось ? » И бесстрастным голосом я тотчас же рассказала ему. Не могла скрыть. Не глядя на него : « Не говори. Я все знаю, что можно сказать против Штейнера и сама не в упоении ничуть. Но для меня в этом пути истина, вырывающая меня, наконец, из моего шатания духовного. Безрадостная, правда, но ведь и младенцу, отнятому от груди, сперва станет безрадостно, сухо... И однако... »

Он остановился, перегородив мне аллею и почти закричал : « Но это же ложь, истина может быть только невестой, желанной, любимой ! Ведь истина открывается творческой активностью духа, не иначе. А ты мне о младенце... И как же тогда она может быть безрадостной ? Имей же мужество лучше сказать, что ты просто ничего не знаешь, все потеряла, отбрось все до конца, останься одна, но не хватайся за чужое »...

Он обрушил на меня поток прожигающих слов. С террасы нас звали. А мы, не слушая, ходили, ходили, говорили.

Вечером, усталая, смывая с себя вагонную пыль, отжимая мокрые волосы, я после многих дней в первый раз вздохнула легко : « И где это я читала, что имя Николай значит витязь, защитник ? Смешной — как Персей, ринулся на выручку Андромеды, — кто это по мифу держал ее в плену ? Но он совсем не переубедил меня... » Потом потянулись дни — обед, прогулки, общие разговоры, все только на час, на часы

прерывало мучительный все больное и стыдное обнажавший во мне поединок, — но сладостный, потому что в любви. Он бился за меня со мной. Вся трудность, вся свобода решения оставалась на мне, но этим разделением моей тяготы, моего смятения он дал мне лучшее, что человек может дать другому. Эти дни в Ольяховом Роге связали нас по-новому.

Пламенный в споре, воинствующий, Бердяев не давил чужой свободы. Но повести за собой — только высвободить человека из опутавших его цепей. Настолько он умел быть терпимым, мириться с чужой правдой, показывает то, как он принял позднее переход жены в католичество, — и не это одно, а вступление ее в Доминиканский орден с подчинением всей жизни строжайшему монастырскому уставу. Глубоко расходясь с идеологией и практикой католичества, постоянно полемизируя с ним, Бердяев по-настоящему уважал верования жены, не отдалялся от нее и терпеливо сносил все домашние неудобства, все нарушения часов вставания, обеда и т. д. Он писал мне: « У Лили свой особый путь. Католичество ей много дало. Но у меня очень ухудшилось отношение к католичеству, более близкое знакомство с ним меня очень оттолкнуло ».

4.

В начале пятнадцатого года Бердяев, проводивший зиму в деревне под Харьковом, приехал в Москву прочесть лекцию; он остановился вместе с женою у сестры моей, у которой жила и я в ту первую военную зиму. Квартира в переулке у Новинского, снежные сугробы во дворе. Жили мы тихо, притаясь, оглушенные совершавшимся. С приездом Бердяевых хлынули люди, закипели споры. В один из первых дней Николай Александрович, возвращаясь с какого-то собрания, поскользнулся и сломал ногу. Когда его вносили в дом, он доспаривал с сопровождавшим его знакомым на

какую-то философскую тему. Потом два месяца лежания, нога во льду, в лубках, сращение перелома затянулось. Друзья и просто знакомые навещают его. Телефонные звонки, уходы, приходы, все обостряющиеся споры между ним и Булгаковым, Вяч. Ивановым, которых захватил шовинистический угар. Приезжие из Петербурга, с фронта. Судебный процесс: Бердяев привлечен за статью против Распутина, модный адвокат навещает его, кадеты, которых ни тогда, ни после в эмиграции, он не терпел, восхваляют его... Новыми были хлынувшие из Варшавы беженцы-поляки, у некоторых из них создается живой контакт с Бердяевым, разговор переходит на французский язык, на очереди вопросы польского мессианизма. На нашем давно молчавшем пианино играет Шимановский, талантливый композитор-новатор. Сколько-то польской крови было у Бердяева, какая-то из прошлого связь с верхушкой польской интеллигенции: крестной его матерью была вдова Красинского, крупного поэта, продолжателя идей Мицкевича и Словацкого. Николай Александрович глубоко переживал трагическую судьбу этого народа. Вообще в это время у него обострился интерес к вопросам национальностей. Не так, как у славянофилов или тогдашних эпигонов их, чувствующих только одну свою народность — он же остро вникал в особенности каждой нации. В ту пору повальной германофобии он напечатал этюд о германском духе с исключительно высокой оценкой его. Но так же, как шовинизм, ненавистен ему и пацифизм, уклонение от ответственности за судьбу родины. Любовь к России как вино ударила ему в голову. И все это было связано с самыми глубокими корнями его философии. Он сам как-то писал мне: « В моих идеях по философии истории есть что-то определяющее для всего моего миросозерцания и быть может наиболее новое, что мне удается внести в чистое познание ».

Не знаю, что именно он здесь разумеет. Меня же вдохновляло то, что его чувство человеческого « я » не

теряет в яркости, в силе, когда он рассматривает это « я » в свете истории. « Да, путь человека к всечеловечеству через дебри истории, через национальность, но нация — тоже лицо, и человек, как часть нации, сугубо личен. Каждая человеческая песчинка, уносимая и терзаемая вихрем истории, может, должна внутри себя вмещать и нацию, и человечество. Судьба народов и всего человечества — моя судьба, я в ней и она во мне. Да и это слишком узко. Человек не муравей, и самый устроенный муравейник будет ему тесен. Социологи слишком часто забывают, что есть глубокие недра земли и необъятные звездные миры... А между тем подлинные достижения человеческой общественности связаны неразрывно с творческой властью человека над природой. Но этого не достигнуть одной техникой, для этого нужна самодисциплина, иная высшая степень овладения собой, своими собственными стихиями... человек... ».

Волнуясь, он повышает голос, силится приподняться, морщится от боли; с этой вытянутой ногой, в лежачем положении на диване (ненавидит все мягкое, расслабляющее), ему трудно выразить всю действенность своей мысли.

Я подсказываю : ну да, весь космос — тайный орден и преследует тайные цели. В нем степени посвящения, мастера, подмастерья. Имя мастера — человек. А ты — великий магистр ордена. Так ? — « Насмешница ! » — Но доволен.

5.

Вышла книга Бердяева « Смысл творчества ». Толстый том. Сотни пламенных, пародоксальнейших страниц. Книга не написана — выкрикнута. Местами стиль маниакальный : на иной странице повторяется пятьдесят раз какое-нибудь слово, несущее натиск его воли : человек, свобода, творчество. Он бешено бьет молотком

по читателю. Не размышляет, не строит умозаключений, он декретирует.

Открываю наугад — какие сказуемые, т. е. какая структура словесного древа : мы должны... необходимо... надо, чтобы... возможно лишь то-то, а не то-то... Повеления. Это утомляет и раздражает читателя. Не меня. Посягательство на *мою* свободу я в этом не вижу. Вижу, т. е. слышу другое. *Голос* книги многое говорит мне о судьбе ее автора...

Тьма, ничто, бездна, ужас тьмы — вот что для Бердяева в основе бытия, вот в чем корни божественного миротворчества и бездонной свободы человеческого духа. Но эта же тьма, бездна снова настигает светлый космос и человека и грозит поглотить их — отсюда необходимость творчества во что бы то ни стало, отсюда центральное место творчества в идеях Бердеява : твори, не то погибнешь... Конечно, это всего лишь грубый намек на внутреннее зерно, хочется сказать — на потаенный мир его философии, нигде полностью им не раскрытый, хотя он постоянно ходит вокруг. В одном письме он говорит : « Я часто думаю так : Бог всемогущ в бытии и над бытием, но Он бессилен перед « ничто », которое до бытия и вне бытия. Он мог только распяться над бездной этого « ничто » и тем внести и свет в него... В этом и тайна свободы (т. е. как человек может быть свободен от Бога). Отсюда и бесконечный источник для творчества. Без « ничто », без небытия творчество в истинном смысле слова было бы невозможно... Спасение же, о котором говорится в Евангелии, есть то же творчество, но ущемленное сопротивлением « ничто », втягивающим творение обратно в свою бездонную тьму. Тут у меня начинается ряд эзотерических мыслей, которые я до конца не выразил в своей статье « Спасение и Творчество ».

Словесная форма этих бердяевских мыслей сложилась под влиянием мистики Якова Беме. Яков Беме — исключительное явление в истории христианской мысли. Не век ли Возрождения, к которому он принад-

лежал, бросил на него отблеск своего титанизма и возвеличения человеческой личности? Правда, что все это по-средневековому окрашено у него натурфилософски, отдает алхимической лабораторией: сера, огонь, соль и т. д. Близок он Бердяеву в том, что для обоих мировой процесс — борьба с тьмою небытия, что оба ранены злом и мукой жизни, обоими миссия человека вознесена необычно.

Но и задолго до знакомства с Беме Бердяев в личном подсознательном опыте переживал этот ужас тьмы, хаоса. Помню, когда он бывал у нас в Судаке, не раз среди ночи с другого конца дома доносится крик, от которого жутко становилось. Утром, смущенный, он рассказывал мне, что среди сна испытывал нечто такое, как если бы клубок змей или гигантский паук спускался на него сверху: вот-вот задушит, втянет его в себя. Он хватался за ворот сорочки, разрывал ее на себе. Может быть отсюда же, от этого трепета над какой-то бездной и нервный тик, искажавший его лицо, судорожные движения рук. С этим же связаны и разные мелкие и смешные странности Бердяева — например, отвращение, почти боязнь всего мягкого, нежащего, охватывающего: мягкой постели, кресла, в котором тонешь... Но эта темная, всегда им чувствуемая как угроза стихия ночи, мировой ночи, не только ужасала, но и влекла его. Может быть так же, как Тютчева, кстати, любимого и самого близкого ему поэта. Ведь только благодаря ей, вырываясь из нее рождается дух, свет. Все может раскрыться лишь через *другое*, через сопротивление. Диалектиком Бердяев был не по философскому убеждению, а кровно, стихийно.

6.

Барвиха, живописнейшая... На высоком берегу Москвы-реки — там проводила я с Бердяевым последнее их лето на родине. Четыре года отрезанности в



Сестры Герцык в гостях
у больного Н. Бердяева

Крыму, без переписки, без вестей, и вот, наконец, первый обмен письмами, и летом 22-го года я поехала к ним. После заточения в Судаке, после знойных и суровых годов — прикоснуться к ласковой, насквозь зеленой русской земле! Бердяевы тоже в первый раз с революции выехали на дачу и наслаждались. С прекрасной непоследовательностью Николай Александрович, ненавистник материального мира, страстно любил природу, и больше всего вот эту, простую, русскую, лесистую, ржаную. И животных: как бы ни был он захвачен разговором, в прогулке он не мог пропустить ни одной собаки, не подозвав ее, не поговорив с нею на каком-то собаче-человеческом языке.

Помню в давние годы, заехав к ним на их дачку, под Харьковом, я застала всю семью в заботе о подбитой галке, всего чаще она сидела на плече у Николая Александровича, трепыхая крыльями и ударяя его по голове, а он боялся шевельнуться, чтобы не потревожить ее. Теперь всю любовь бездетного холостяка он изливал на Томку, старого полуоблезлого терьера.

Я застала их еще в Москве — заканчивался зимний сезон, шли научные совещания, к ним забегали прощаться, уговаривались на будущую зиму. В их квартире, все той же, толпился народ, мне незнакомый.

Бердяев жил не прежней жизнью в тесной среде писателей-одиночек. Он основатель Вольной Академии Духовной Культуры, читает лекции, ведет семинары, избран в Университет, ведет и там какой-то курс. Окружен доцентами. О политике не говорят, — успокоились, устроились, только иногда кто-нибудь свысока улыбнется новому декрету. Плосковатые шутки насчет миллиардов: про водопроводчика, починившего трубу — «вошел к вам без копейки, через полчаса вышел миллиардером». И серьезность и проникновенность в разговорах о церкви. Некоторых я знала раньше, как самодовольных позитивистов или скептиков: теперь шепчут о знамениях, об обновившихся иконах — одни пламенные католики, другие православные, —

от ненависти? Обиды? Брезгливости? Я ежилась. Сама не знала почему — не радовалась такому оцерковлению.

Годы военных ужасов, преследований, голода, иссушили прежнюю веру, то есть всю влагу, сладость выпарили из нее. И в этом опять ближе Бердяев с его суровостью духа. В эти первые дни в Москве я переходила от элементарного чувства радости по забытому комфорту, книгам, еде досыта, к новой тоске, к желанию спрятаться, допонять что-то, чего-то небывалого дождаться. Только бы остаться наедине с Бердяевым. Знала, что ему все те, с кем он ведет организационные совещания, внутренне чужды. Мечтала: что если б и он затих, замолк, вышел бы к чему-то совсем новому... Но, конечно, тишеть, молкнуть, ждать — не в его обычае. Из уголка, где прикорнула на диване, различаю среди многих голосов его, — его мысль, всегда вернейшую, самую острую, самую свободную. Улыбаясь, узнаю [часть страницы — одно слово — оторвана]... приемы: сокрушительным ударом бить в центр. Всегда в центр. Стратег. Голос повышается — уже других не слышно. Но почему-то вдруг мне кажется, что эта меткая, эта глубокая мысль — на холостом ходу. Размах мельничных крыльев без привода. И нарастает горечь и жалость.

Мы переехали в Барвиху — как в старину из Москвы во все концы тянутся возы всякого людского добра. Устраиваемся в новом бревенчатом, пахнущем сосной доме. Приколачиваем полки — это буфет, мастерим письменные столики из опрокинутых ящиков, в первые дни — детски счастливы — будто вырвались, кого-то перехитрили... Лидия с рвением новообращенной ходит за мной с католическими книгами, вкладывает их мне в руки, когда ложусь отдохнуть. У них-то не на холостом ходу: все ввинчено одно в другое, штифтик в штифтик... Но... [часть страницы оторвана]... не по мне. Но тронутая заботой о моей душе — листаю книгу...

В памяти у меня от Барвихи разговоры, и ненасытность в прогулках — полями, полями до дальнего Архангельского, где век Екатерины или вдоль Москвы-реки до чудесного парка другой Подмосковной. Совсем близко — сосновый бор — там лежим на теплых иглах, читаем вслух, пересказываем друг другу быль этих лет. Возвращаясь домой, набираем целый мешок шишек для самовара. Этот вечерний самовар на тесном балкончике, потрескивающие и снопом взлетающие искры, тонкий, как дымок, туман снизу с реки — и близкие, без слов близкие люди. Сладость жизни, милой жизни, опять как будто дарованной, и тут же, тотчас же — боль гложущая... Внезапный звонок и [одно слово неразборчиво]... до рассвета длящийся обыск, перечитывание писем, бумаг Бердяева. Он, спокойный, сидел сбоку письменного стола. Я, с бьющимся сердцем, входила, выходила. Было утро, когда его увезли. Через несколько дней Бердяев вернулся с вестью о высылке. Высылался он и многие другие. Не перспектива отъезда за границу — ему всегда была чужда и отвратительна эмигрантская среда, а само трагическое обострение его судьбы как будто развеяло давивший его гнет. Враг? Пусть враг? Лишь бы не призрачность существования...

Опять люди, прощанья, заканчиванья дел. Мы мало успевали говорить, но мне передавалась от него полнота чувства жизни, и не было места грусти от близящейся разлуки. Вечером, накануне отъезда, Николай Александрович со своим Томкой на коленях поехал на другой конец Москвы — дамы, почитательницы его, наперебой предлагали взять собаку и дома всесторонне обсуждался вопрос, которой из дам отдать предпочтение...

И все же из всех, кого я имела и кого потеряла — его я потеряла больше всех...

VIII

КРЕЧЕТНИКОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК (1915-1917 гг.)

1.

Военные годы в Москве, в Кречетниковском переулке, были счастливым оазисом в жизни сестер. Это звучит дико, оскорбляет высокое чувство патриотизма, но что делать — так было. Для нас обеих затянувшаяся болезнь молодости кончилась, в будущем копились годы нужды, ряд болезней, — их мы не предвидели конечно, хотя они и стучались глухо в сознание с каждой тревожной вестью с фронта, с каждым провалом в тылу. Но так неудержимо хотелось дать раскрыться в себе всему, что раньше было придавлено трудными муками любви, духовных исканий, хотелось просто **быть,** зреть, отдаться творчеству, нежной дружбе... Зло и ужас войны не забыты, нет — ведь ими то и разгорается ежедневно душа, им обязано все личное густотой звучания.

И все же этот оазис — новая уступка тому же индивидуализму, старому греху нашему. Но в ней ли корень долгих ошибок в будущем, разнобоя с жизнью целого, с жизнью страны, корень повторных роковых опаздываний вплоть до последнего, загнавшего ме-

ня, старую, в страшный 41-ый год в эту « Зеленую Степь » ? Отсюда через две, разделенные двадцатилетием, громаднейшие катастрофы, как через стекла стереоскопа, гляжу в прошлое: такими развертывается оно далекими, отошедшими, онемевшими картинками. И все же они — звено, которого не выбросишь из целого.

В жизни Аделаиды эти годы означались новыми чертами. Она писала :

Завершились мои скитания
Не надо дальше идти.
Снимаю белые ткани
— Износились они в пути.

Всегда лелеявшая страдания, бездомность — она захотела покоя, благополучия, уюта. Символом этого стал дом, который она строила в Судаке рядом с нашим стареньким, отжившим свое. Поместительный, барский дом с колоннами. Конечно, практической стороной постройки занимались все другие, а только не она — муж ее, когда приезжал с фронта, брат, все мы. Но дом так и назывался « Адин дом ». Держа за ручку мальчика, она осторожно вела его по доскам, перекинутым через провалы, и нашептывала ему сказку про дом, про то, какая в нем будет жизнь. Сказка осталась сказкой, — жить же в нем ей пришлось совсем по другому.

А в зимней квартире в Кречетниковском я чаще всего видела ее в сизом, голубино-сизом халатике на широкой тахте с тетрадью и карандашом в руке, а рядом с нею двух мальчиков [1]), старшего, с рвением разрисовывавшего большие листы цветными лабиринтами. Или же она, отбросив тетрадь, с рассеянно ласковой улыбкой выслушивала излияния прильнув-

---

1) Старший Даниил Дмитриевич (погиб в годы культа личности); младший — Никита Дмитриевич, врач.

шей к ней девочки-поэта. Их было несколько в те годы вокруг Аделаиды. Еще с 1911 года идущее знакомство и близость с Мариной Цветаевой: теперь и вторая сестра Ася — философ и сказочница — появилась у нас. О них обеих, тесно связанных с нашей жизнью, скажу особо [2]). Тот же Волошин, ранее познакомивший сестру с Цветаевой, в один из наездов в Москву рассказал ей, как к нему пришла совсем девочка с нерусским острым личиком и прочла ему свои искусные по форме французские стихи. Он пленен ею. — Нет, вы непременно должны прослушать ее! — И вот Майя Кювилье у нас и стала частой гостьей. Хрупкая детская фигурка, прямые, падающие на глаза волосы, а в глазах — нерусская зрелость женщины. Не от того ли эта двойственность в существе Майи, в уме ее, то поражавшем сухой трезвостью, то фантастически дерзком, что к французской крови примешалась в ней русская? У нее были какие-то основания думать, что отец ее мичманом погиб в Цусиме, но мать — с юности гувернантка в разных русских семьях — почему-то не соглашалась назвать ей его имя. В те годы желание раскрыть эту тайну преследовало Майю. В спущенных уголках губ горькая черточка разочарования неверия. А вела себя часто по-детски: плененная поэзией Вяч. Иванова и внезапно влюбившаяся в него, когда встретились с ним у нас, взобралась вместе с сестриным мальчиком на фисгармонию, уставилась на него и слова не вымолвила. А в стихах ее к нему сквозь изящную галантность — зоркое и чуть насмешливое проникновение в его характер. Потом начался у нее другой роман. Забегает к нам и ластится к сестре: — Если мама позвонит, Аделаида Казимировна, скажите, что я у вас — и уж нет ее. Недалеко от нас квартира-коммуна, населенная молодыми художниками, начинающими писателями — филиал коктебельской вольницы, и во-

---

2) Воспоминания о Цветаевых остались ненаписанными.

главе ее говорящая басом и одетая по-мужски мать Волошина [3]). Там же помещица, княгиня Кудашева, временно поселила сына, кончающего гимназиста. В его-то комнатке ведутся у Майи с ним нескончаемые разговоры, волнующие обоих. Часов в одиннадцать и вправду звонит мадам Кювилье, гувернантка в доме оперного антрепренера Зимина, и по-французски спрашивает сестру, у нее ли Мари. Сестра отвечает, что да, она здесь — смотрит на меня растерянно от телефонной трубки : но видите-ли, она сейчас в детской — мой самый маленький все не засыпал и только, когда Майя — Мари — стала ему напевать, затих (такой случай правда был однажды)... Может она вам позвонить позднее ? — О, пожалуйста, мадам, не беспокойтесь... Обмен французскими извинениями. Мы никогда в лицо не видали этой мадам Кювилье. Сестра отходит от телефона с озабоченным видом. — Нехорошо... Ах, Майя... Меня мучит, что я Никулю втянула в эту ложь. Как ты думаешь — ничего ? Пойдем посмотрим на него.

Вызывало сомнение, сам ли Сережа Кудашев, титул ли влек Майю ? Мы не видали их вместе, и нас не было в Москве летом, когда она обвенчалась с ним, уже призванным в армию. Потом она жила в имении с его матерью, родился сын. Мальчик — муж был убит на войне, кажется, на гражданской, уже в рядах белых, а в первый же год революции старинная усадьба разгромлена, сожжена, семья спаслась бегством. Десяток одиноких лет (сын рос у бабушки), цепь рискованных встреч, умственных метаний — человек с красной звездой на кубанке, потом переписка с Генрихом Рене, маститым королем поэтов, и поездка к нему в Париж, и что только не отделяет нашу Майю от Марии Павловны Роллан, жены и друга старческих

3) Коммуна называлась « обормотником » — Н.В. Крандиевская, Я вспоминаю, — « Прибой ». Сб. произведений ленинградских писателей, Л., 1959, с. 76.

лет Ромена Роллана. Такою в тридцатые годы стала она известна у нас широкому кругу. Мы же с нею больше не встречались, но не раз узнавали некоторые ее черты в Асе, одной из героинь « Очарованной Души », а также и в том, что доносили до нас скупые рассказы о подруге любимого писателя.

2.

Все в те годы было так или иначе связано с войною, ею зажжено, вызвано к жизни или в ней тонуло. Внезапные сближения между людьми, раньше чуждыми друг другу, иногда злые расхождения прежних друзей. В близком нам кружке писателей и философов со страстью обсуждались все повороты военной судьбы, жадно прислушивались к живым свидетелям.

Сестра у телефона: приходите вечером — будет Алексей Толстой, только что с турецкого фронта, с Кавказа... Позже, приготовляя винегрет, посмеиваемся: помнишь в « Войне и Мире » у старой фрейлины, у Анны Павловны на вечерах каждый раз был какой-нибудь « гвоздь » ... И почему это он захотел прежде всего к нам придти? — С Алексеем Толстым знакомство у нас давнее — через Волошина, Коктебель — но не близкое. Вечером — похудевший, точно сплыл с него жирок бонвивана, в полу-военном с обычным мастерством неспешно и сочно рассказывал военные эпизоды. Стеснившись вокруг, слушали, Булгаков [1]), загоравшийся платоновским эросом к каждому, связанному с русской славой, влюбленно смотрел на него. Но рано простившись, А. Толстой шепнул сестре: мне нужно отдельно поговорить с вами. И на другой день он поведал ей о новой своей любви, о тайно решенном браке (с первой женой, с которой связана богемно-разгульная полоса его жизни, он уж разошелся). « Вы именно оцените ее, она поэт, и вообще они удивитель-

---

1) Булгаков, Сергей Николаевич.

ные — две сестры, обе маленькие, талантливые, дружные: когда Туся и Надя чем-нибудь взволнованы, они вместе залезают в ванну, воду по горло, дверь на крючок, плещутся и говорят, говорят. У нее был уж неудачный брак, но они разошлись. Не могла же она, поэт, жить с модным адвокатом — да в наше-то время? Дорогая, можно привести ее к вам?» Почему-то многим было сладостно делиться с Аделаидой переживаниями любви и не стыдно своей сентиментальности.

Он пришел с Натальей Васильевной Крандиевской. Тоненькая искусно причесанная, в каком-то хитрого фасона платьице с разлетающейся туникой поверх узкой юбки. И щупленькая книжечка ее стихов, сколько помню, изящных и холодноватых [1]). Он жадно смотрел на ее губы, пока она читала, а потом сияющим, ждущим взглядом на сестру, — как-то она поймет, обласкает невесту-поэтессу. Нова была эта простодушность в нем, цинике и в жизни, и в ранней беллетристике своей. Помню за чаем, совсем размягчившись и уже не стесняясь меня, ему чужой, он говорил с медвежачьей наивностью: «мы хотим жить так, чтобы все было значительно, глубоко — каждый час. По новому жить. Так Туся говорит. Как ты говорила, Туся?» Слова были беспомощны и смутны, но и вправду союз его с Крандиевской на первых порах внес что-то новое, обогатил его несложную психологию. Сужу об этом по трогательным образам сестер в «Хождении по мукам». Как сложилась их жизнь вдвоем — нам не пришлось видеть: жили в разных странах, позднее в разных сферах — он вверху, мы внизу.

Семье Крандиевских вообще были свойственны духовные интересы. Младшая сестра Надежда Васильевна прошла путем фанатических религиозных влечений и отталкиваний — то прилеплялась к старцам,

---

1) Имеется в виду «Стихотворения», М. Кн-во К.Ф. Некрасова, 1913.

то к наивнейшим мистикам — прежде, чем стала тем исключительно гармоничным, солнечным скульптором, каким мы знаем ее теперь.

По какому-то поводу у Аделаиды побывали старики Крандиевские — отец и мать, в прошлом « небесталанная беллетристка »[2]) (кто-то из них был глух и потому оба наперебой и с жаром кричали). Они вместе издавали « Бюллетени литературы и жизни », скромный библиографический журнальчик : обо всех книгах давались краткие отзывы, но тому, что было связано с новыми формами духовной жизни, с развитием внутренней силы, с иогизмом, посвящались длинные, сочувственные статьи. Сообщали не только о книгах, но и о жизненных фактах того же рода. Это было не очень глубоко и последовательно, но говорило о живом интересе. Не помню, здесь ли или в однородной газетке сына Суворова « Новой Жизни » печатались путевые впечатления Успенского, автора книги « Tertium organum » и еще другой — книг, посвященных оккультизму, ученых, но литературно бесцветных. Мы жадно прочитывали эти строки, писанные на возвратном пути из Индии и рассказывающие о встречах и разговорах с любомудрами, с ищущими разных стран. А тут как-то к Аделаиде зашла сестра давней, еще школьной ее подруги Мантейфель, актриса, малоудачливая, но с исканиями нового. Оказалось, что Успенский ее муж и что сам он тоже уже в Москве. И вот они вдвоем у нас. Он рассказывал о скитаниях своих в Индии, например по следам книги Радда "Тай на юге в Голубых Горах", где обитают обладающие магическими силами племена Тоддов и карликов Курумбов. Показывал снимки, сделанные им с них, подтверждал некоторые из чудесных фактов, рассказанных русской писательницей. Таинственный мир волнующе приблизился ! Подарил мне фотографию Рамакришны, в то время только что узнанного и полюбленного

---

2) Крандиевская, Анастасия Романовна.

мною, передавал живые предания, услышанные от учеников его, по сути, не образны были его рассказы по сравнению с вдохновенной книгой Ромена Роллана, посвященной великому мистику вчерашнего, почти сегодняшнего дня. В глазах Успенского напряженная сила сосредоточения, собранной в одно острие воли, но духовного обаяния в нем не было. Что сделалось с ним потом? В литературе я больше не встречала его имени. Может быть, оставив ее по боку, он на другое направил это острие воли, может быть и по сейчас где-то что-то сверлит ею?

3.

Мимолетно появлялись среди нас и другие мистики-одиночки. Старик финн, пророчивший в недалеком будущем потрясение, которое в Европе камня на камне не оставит — пророчество, ныне никого бы не удивившее. Не припомню еще многих, мелькнувших тогда. Война будила апокалиптические веяния. То там, то здесь шли рассказы о священниках-прозорливцах, непохожих на обычных батюшек... Но мы с сестрой оставались далеко от всего этого. Аделаида, казавшаяся такой податливой, как воск восприимчивой к чужой мысли, по существу, в глубине была духом независимей многих и многих, прямо-таки неспособна была идти за кем-нибудь, быть в свите, среди жен мироносиц. Ее духовное томление предыдущих лет разрешилось теперь тем, что она перешла в православие, но сделала это тихохонько, тайком даже от меня и не ища замечательного духовника — просто сбросить тяготившую неправду лютеранства и стать, наконец, совсем дома в этих полюбившихся ей церковках московских. Вечером выскользнет из дома, зайдет на минуту ко всенощной; иногда сперва заботливо купит свежих булок к чаю и с пакетиком постоит, не слушая чтения, перед богородичной иконой, розовеющей от лампадки.

И только свечи перед иконами,
Мерцая, знают самое важное
И их колеблющее сияние,
Их безответное сгорание
Приводит ближе к последней истине.

Так писала она позднее.

Другом ее в эти годы сделался Булгаков. Сергей Николаевич Булгаков — в прошлом марксист и социал-демократ, а теперь правоверный православный, — в будущем священник и духовный отец лучших среди русской эмиграции. В годы, о которых я говорю, он уж автор нескольких книг по православной мистике. Книги эти с дружеской надписью лежат у нас, но как-то так случилось, что мы обе, заглянув лишь туда-сюда, прилежно их не прочли, и вот у меня нет цельного представления о его миросозерцании. Причина может быть и в том, что цельности не было в нем самом. На одной стороне — правоверие, которое связывало его со столпами московского православия, с старцами Зосимовой Пустыни. Появляясь же в кружке близких нам людей, он отдавался их темам, зыбким и рискованным, внося в них ту свежесть восприятия, которой уже не было у других. По годам такой же как большинство наших друзей — между тридцатью и сорока — он казался моложе благодаря какому-то хаосу, еще не перебродившему в нем. Нас с сестрой забавляло, ему, которого за своего почитали разные владыки с наперсными крестами, открывать какого-нибудь немножко кощунственного поэта, толковать Уайльда, музыку Скрябина, встречать внимательный, загорающийся взгляд его красивых темных глаз. Узкоплечий, несвободный в движениях, весь какого-то плебейского склада — прекрасны были у него только эти глаза. От времени марксизма сохранил он задор спора и так же бывал резок, жесток, нападая на инакомыслящих — будь ли то атеисты, теософы, разных толков — ни ноты христианского духа примирения. И

тем больше веселило нас, что от Аделаиды он, не бунтуя, выслушивал любые еретические слова. Склонившись над ней, он что то длинно ей говорил, а она, перестав его слушать, отвечает совсем невпопад. Если я была близко, случалось, я вмешивалась : « Адя, но ты не расслышала... Сергей Николаевич именно и говорит... » Но может быть ее « невпопад » как раз и было ему нужно : он уходит размягченный. Проводив его, сестра возвращается утомленным шагом : « Ничего... он не обиделся... это было что-то скучное и не важно что, но я люблю, когда у него загораются глаза — такие коричневые и... добрые ». Она немножко лукавила : его, правда, коричневые и глубокие глаза, когда он с нею говорил, были не добрые, а восхищенные. Пристрастие его к Аделаиде было предметом незлобивых шуток среди самых близких. Бердяев подсаживался к ней и весело поблескивая глазами : у вас был Сергей Николаевич ? был очень « софиен » ? София, Премудрость, женское начало или женское дыхание в Божестве — предмет тайного поклонения Булгакова.

У французов есть меткое выражение avoir le courage de ses opinions — я бы досказала : le courage de ses passions.

Вот этого мужества своих пристрастий недоставало Булгакову — или же оно давалось ему нелегко, с мукой. В шестнадцатом году он был поглощен изданием одной книги. В Нижнем жила скромная сотрудница местной левой газеты Анна Шмидт. За несколько лет до смерти Владимира Соловьева она написала ему, что ей открылось : она — воплощение Софии, Души Мира, которой поклонялся философ, которою дышит вся его поэзия. Что-то в письме Шмидт поразило Вл. Соловьева. Он поехал в Нижний, увиделся с нею, старался отрезвить ее, обменивался с нею письмами, прочел со вниманием ее пророческие писания, о которых, конечно, и не подозревали ее газетные сотоварищи. Через много лет после этого, следуя за какими-то

нитями, Булгаков разыскал корреспондентку Соловьева, теперь уже седую старушку, но верную все тем же мыслям, беседовал с нею. Вскоре она умерла, и вот в его руках ее архив — переписка с Вл. Соловьевым и ее собственные писания. Серг/ей Ник/олаевич/ подготовил их к печати, написал большое предисловие, гностически истолковывая прозрения Шмидт, но издал книгу не в издательстве « Путь », где был главным редактором, издал на свои средства, безымянно, и даже под предисловием не решился поставить своего имени. А там были высказаны самые глубокие и дорогие ему мысли ! Недостаток мужества ? Может быть и не только это. Может быть он умышленно ограждал как частное, интимное, ни к чему не обязывающее, свою любовь, свою тоску ?

Помню другую его слабостную ересь той же поры. Проводя лето обычно в Крыму, под Ялтой (имение родителей его жены), он не раз сталкивался с автомобилем царя, внезапно налетающим из-за поворота, и вид этого уже обреченного человека — злой судьбы России — пробудил в нем безмерную жалость — влюбленность. Всеми навыками радикальной политической мысли он знал неизбежность революции и гибели царизма, но сильнее этого изнутри жгло его чувство к несчастному помазаннику. При разговорах о царе — а возникали они тогда непрестанно — он болезненно морщился, но иногда, в особенности, когда слушательницей его была сестра, он отдавался не только муке, но и сладости этого чувства. В его думах о России, ее судьбе, судьбе царя был безумящий его хмель — что-то общее с хмельными идеями Шатова у Достоевского. Быть может и влечение к священству возникло в нем прежде всего, как желание привести в гармонию свою слишком мятежную, хаотическую сущность. Как ему, верно, трудно было эти интеллигентские руки, привыкшие к писанию, к резким жестам спора, переучить к плавному иерейскому воздеванию! Мне не пришлось видеть его священником, но думаю,

что гармонии он достиг и голос его обрел ту уверенность, которой не доставало ему.

В двадцать пятом году, когда Аделаида умерла, он писал мне из Парижа :

« У меня давно, давно, еще в Москве было о ней чувство, что она не знает греха, стоит не выше его, но как-то вне. И в этом была ее сила, мудрость, очарование, незлобивость, вдохновенность. Где я найду слова, чтобы возблагодарить ее за все, что она мне давала в эти долгие годы — сочувствие, понимание, вдохновение, и не мне только, но всем, с кем соприкасалась. Не знаю даже, не могу себе представить, чтобы были слепцы, ее не заметившие, а заметить ее это значило ее полюбить, осияться ее светом. Я узнал опытом долгой жизни, что неотразима и победна только святость, ее все, все в глубине души и ищут, — ее только одной — и ничего другого не хотят, и если ее увидят и узнают — все оставят и за нею пойдут. Потому неотразима Богоматерь, что Она вся есть чистота и святость. О, если бы люди знали... Зачем я говорю это самое заветное, что есть на душе? Потому, что о ней и для нее не могу не говорить только заветного, ибо и она была заветная.

Наши старые отношения вы знаете, это было у вас на глазах. Видал же я ее в последний раз в Симферополе в двадцатом году. Она очень изменилась, состарилась, но внутренний свет ее оставался тот же, только светил еще ярче и чище. Она меня провожала на почту, я как-то знал, что провожаюсь с нею навсегда, что в этом мире мы не увидимся. Ее письма были всегда радостью, да радостью, утешением, светом. Чем больше для самого меня раскрывалось на моем пути глубины сердца, тем лучезарней видел ее образ. В ней я все любил : ее голос, глухоту, взгляд, особую дикцию. Правда, я больше всего любил и ценил ее « творчество », затем для меня стала важна и нужна она сама с дивным, неиссякаемым творчеством жизни, гениальностью сердца. Последние годы мы жили

далеко. Если бы мы жили ближе, я мог бы помогать ей в церковности, но вряд ли ей нужна была помощь в ее личном духовном пути. Во всяком случае было так, как нужно, и ей, очевидно, дано было осуществить себя в значительной мере.

Земно кланяюсь ее могиле (родное, жаркое, выжженное южное кладбище — *как* я это знаю и как мучительно люблю!)... ».

Не знаю, рассказал ли бы он такими простыми, спокойными словами о своем давнем чувстве к ней, если бы не был священником.

4.

О скольких не упоминаю я в моих воспоминаниях. Но одну дружбу-вражду не хочу обойти молчанием. Началась она много раньше описываемых лет: в 1906 г., наша двоюродная сестра вышла замуж за студента Ильина[1]). Недавний революционер эсдек, (он был на памятном съезде в Финляндии в 1905 г.), теперь неокантианец, но сохранивший тот же максимализм, он сразу порвал с родней жены, как раньше со своей насквозь буржуазной, но почему-то исключением были мы с сестрой, и он потянулся к нам со всей присущей ему пылкостью. Двоюродная сестра не была нам близка, но — умная и молчаливая — она всю жизнь делила симпатии мужа, немножко ироническая к его горячности. Он же благоговел перед ее мудрым спокойствием.

Молодая чета жила на гроши, зарабатываемые переводом: ни он, ни она не хотели жертвовать временем, которое целиком отдавали философии. Оковали себя железной аскезой — все было строго расчислено, вплоть до того, сколько двугривенных можно в месяц потратить на извозчика; концерты, театр под запретом, а Ильин страстно любил музыку и Художественный

1) Иван Александрович Ильин, впоследствии известный философ.

театр. Квартирка — две маленькие комнаты — блистали чистотой — заслуга Натальи, жены. Людей, друзей в их обиходе не было. Ильин оставлен при Университете по кафедре философии права, но теперь, влекомый к чистой философии, возненавидел и право, и профессора по кафедре — Новгородцева, и сотоварищей. Всегда вдвоем — и Кант. Позднее Гегель, процеженный сквозь Гуссерля. И так не год, не два. Винт завинчивался все туже. И вот как отдушина — влечение к сестрам, таким непохожим на них, носимым туда — сюда прихотью сменяющихся вкусов : Ницше, античность, модернизм, восточная мистика... То, что отвращало в других — в нас влекло. Бывают такие причуды.

Когда же наши пристрастия из книжных превратились в живых людей, и Ильины стали встречать у нас Волошина, Бердяева, Вяч. Иванова, стало плоше : с неутомимым сыском Ильин ловил все слабости их, за всеми с торжеством вскрывал « сексуальные извращения ». И между нами и Ильиными прошла трещинка, вражда, сменявшаяся опять моментами старинной дружественности. Способность ненавидеть, презирать, оскорблять идейных противников была у Ильина исключительна, и с этой, только с этой стороны знали его москвичи тех лет, таким отражен он в Воспоминаниях Белого. Ненависть, граничащая с психозом. Где, в чем источник ее ? Может быть отчасти в жестоких лишениях его юных лет : ведь во имя отвлеченной мысли он запрещал себе поэзию, художественный досуг, все виды сладострастия, духовного и материального, все, до чего жадна была его душа. Знакомство с Фрейдом было для него откровением : он поехал в Вену, провел курс лечения-бесед, и сперва казалось, что-то улучшилось, расширилось в нем. Но не отомкнуть и фрейдовскому ключу замкнутое на семь поворотов.

В годы, о которых я пишу, Ильины уж не нуждались — то ли наследство какое-то — помню его большой

кабинет с рядами книг, с камином и кожаной мебелью. Как не русским был он в своей аскетической выдержке, так нынче не по-русски откровенно наслаждался комфортом, буржуазным благополучием. По матери — немецкой крови, светлоглазый, рыжеватой масти, высокий и тонкий, Иван Ильин — тип германца. И как бывает порой с русскими немцами, у него была ревнивая любовь к русской стихии — неразделенная любовь. Страстно любил Художественный театр, выискивал в игре его типично русские черты, любил Чехова, любил Римского-Корсакова так, как любят любовницу, ненавидя тех, кто тоже смеет любить; любил, не всегда различая некоторую безвкусицу, например в сусально русских былинах Ал. Толстого. Выйдет из кабинета на маленький заснеженный балкончик и влюбленно смотрит на « свою Москву », говорит подчеркнуто по-московски, упивается пейзажем Нестерова. В послереволюционные годы он близко сошелся с самим художником, и тот написал его с книгой в руках идущим вдоль тусклого озера и скудных березок — этаким светловолосым мечтателем. И вправду, за злобными выпадами копошились в нем нежнейшие ростки.

В 15-16-ые годы уже не мы одни с сестрой объект его почти сентиментальной дружбы — он упоен сближением с композитором Николаем Метнером, предан Любови Гуревич, дружит с одним умным и тонким евреем, толкователем Ницше, — и везде-то его дружба напарывается на шипы : здесь враждебный ему Ницше, а Метнер, приятель Белого, особенно ненавистного Ильину. К нам, в Кречетниковский пер., они теперь заглядывали редко : трудно выкроить вечер, чтобы у нас наверняка никого не было. А придет Ильин весь дружественно раскрытый, и не нам одним — всему, что окружает сестру : благоволит немножко свысока к ее мужу [1]), удостаивая его философской дискуссии,

---

1) Дмитрию Евгеньевичу Жуковскому, издателю журнала « Новый путь » 1903-1904.

возится с мальчиком, бегает по комнате, дурачится. Едко и зло пародирует молодых московских когенианцев, риккертианцев... Смеемся, хотя по нас что презираемый им Коген, что чтимый Гуссерль — одна мура! Но вот раскрытая книга с авторской надписью на столе — толчок к язвительному наскоку на кого-нибудь из наших друзей. Мы на дыбы. Слово за слово все резче. Расстаемся в холоде. А через день от него покаянное письмо. И опять все сызнова. Скучная канитель. Думается, что если бы его писательский дар был ярче и ему удалось выбросить из себя злобу в желчных статьях, он в жизни был бы мягче. Но, упрямо насилуя себя, он годы и годы пишет все одну книгу о Гегеле. Мне так и не довелось прочесть ее. И не удержала в памяти его толкования Гегеля, и вообще — стержня лично его, ильинских мыслей: долгими и бесплодными были отношения — совсем незачем — так, грех попутал.

Но нынче, в час суда над прошлым, спрашиваю себя, не во мне ли отчасти вина? Будь я сама тогда свободной от чужих влияний, будь до конца *собою*, разве не соприкоснулась бы я с глубью *его* духа — все равно, для осуждения ли или для помощи?

В двадцать втором году Ильин среди многих других был выслан за границу. Они осели прочно в Берлине и с тех пор канули для нас в неизвестность. Жив ли он? Во всяком случае встреча с фашизмом не могла не быть ему и возмездием и суровым испытанием.

5.

Прихотливым узором сплетаются иногда в человеке национальные черты. Вот еще полунемец, близкий нашему кружку. Эрн — по отчеству даже Францевич — отец его природный немец из Германии, провизор. Не знаю, какими путями, может быть, под влиянием матери, русской, Эрн смолоду пришел к

православию. Но знаю, что уж потом никогда сомнение не коснулось его ясной, монолитной души. Одновременно и также цельно он полюбил античность, светлый мир Эллады. Обе любви сплавились в одну через посредство необыкновенно в нем живого чувства первохристианства. В Риме, где Эрн писал свою диссертацию, он пристально изучал катакомбы, — символике их посвятил не одну статью. Упор на христианство первых веков — это ведь черта лютеранская. В православии Эрна не было ничего от мрачного византийства, — он просто верил, что на русской земле преображенным Христовым светом зацветает та же солнечная религиозная стихия Эллады. Концепция фантастическая? Но утверждал ее Эрн со всем догматизмом и нетерпимостью пасторского « брандовского » духа (Бранд — персонаж Ибсена). Кротким и мирным его нельзя было назвать — даже книгу своих религиозных опытов он озаглавил « Борьбою за Логос », и вправду был бойцом, но, яростно споря, чужд был и тени *личной* неприязни. Весь он был тверд как алмаз и как-то кругло закончен, не было в нем и щелки, чтобы просунуть в нее кончик *своей* мысли, *своего* возражения, и мне казалось, что как-то не о чем говорить с ним. Может быть это происходило и от того, что в эти годы он — еще совсем молодой — уже нес в себе смертельную болезнь, от которой и умер в 17 году — тяжелое заболевание почек. Серо-бледный, с отеками на лице, с слишком светлым, глядящим и не глядящим взглядом. Он как будто все нужное для жизни и смерти узнал и больше ни в чем и ни в ком не нуждался. Жил он в те годы с женой и голубоглазой, похожей на него дочкой-пятилеткой у Вяч. Иванова, в котором влек его тот же сплав христианства с античностью. А Вячеслав Иванов, посмеиваясь, говаривал: Владимир Францевич — совесть моя и — ох — и лютая же! Впрочем, уживался он со своей совестью не плохо, умея когда хотел, заворожить ее.

Я недостаточно глубоко знала Эрна, поэтому мне

хочется привести еще характеристику его из письма единомышленника его Флоренского к их общему другу.

« Мир души — вот что нужно оттенить в Э/рне/, реализовавшем слова *нашего* святого, апокалиптического Серафима : « Радость моя, радость моя, стяжи мирный дух, а тогда тысячи душ спасутся около тебя ! » Мир духа — не нирвана, наоборот это повышение жизненного пульса, так что и радость с горем становятся конкретнее и сочнее. Но сознание всякий раз допускает в себя только осиянную сторону их и не дает врываться хаосу. Для Э/рна/ зло не абстракция, но он относится к злу как к чему-то чуждому и внешнему, с викингской яростью нападает на него... Одним утром, когда я лежал еще в полусне, мой друг разговаривал в соседней комнате с проворовавшимся мужиком и убеждал его покаяться. Ты знаешь, как нетерпимы для меня все наставления и морализования. Навязчивость их, обычное неуважение к живой личности во имя « принципа » заставляет из одного протеста поступить наоборот... Но тут — тут впервые м/ожет/ б/ыть/ я услыхал голос « власть имущего ». Такая убежденность в силе добра в каждой ноте его голоса, столько любви, уважения к личности в его речах, простых и безвычурных, что я был потрясен.

Я видел действие Э/рна/ на других. Но я знаю больше. Однажды Э/рн/ и я были вынуждены прождать со сторожем при вокзале всю холодную ночь в сторожевой будке. Обессиленный двумя бессонными ночами и иззябший я невольно опустил голову на колени друга и заснул. Во сне он явился мне сияющим Архангелом, и я знал, что он отгоняет от меня все злые силы. Может быть в эту холодную ночь, голодный и измученный, впервые за всю жизнь я был безусловно спокоен ».

6.

Когда идешь по Арбату и ближними переулочками — чуть не каждый дом памятная стелла. Вот в этом угловом прошло детство Белого и описан он в «Котике Летаеве». И в нем же лет сорок бессменно квартира наших тетушек, и много молодого изжито там нами. Через два дома — тот, в котором Пушкин жил с Натальей Гончаровой в первый год женитьбы. А повернешь за угол в «Николу-Плотника» — подъезд: здесь уж на моей памяти была квартира Белого, здесь первая встреча его с Блоком, так волнующе описанная им. Еще через несколько домов во дворе нелепой декадентской архитектуры особняк. Те все дома — надмогильные плиты, а этот еще живой: в той же квартире, где жил Гершензон, и сейчас живет его дочь искусствовед, черными кудряшками и горячим взглядом так напоминающая отца, и в маленьких комнатках как будто еще не совсем остыло жаркое биение пульса.

Дом принадлежал пожилой женщине, Орловой, внучке генерала. Через нее потоком выцветших писем, семейных преданий, альбомных зарисовок дошли до Гершензона драгоценные осколки нашего прошлого, нашей русской славы. Может быть этим определился его творческий путь — его первые книги «Грибоедовская Москва» и другие. А может быть он потому и поселился у Орловой, что уже ранее пошел этим путем и на нем встретился с нею — не знаю.

Музейные вкусы — не редкость. Собирать, хранить автографы, бисерные закладки, за которыми угадываешь тонкие пальцы женщин 30-х годов, невест, сестер... Но Гершензон ненавидит музей, ненавидит вещи как вещи, — ему кажется, что они только засоряют, остужают жизнь. *Жизнь* — вот что всегда в центре его страстного внимания — безразлично, в далеком ли прошлом или в явлении сегодняшнего дня. Он нетерпелив и никогда не в рабстве у докумен-

тов. Потому и попадает порой впросак как литературовед-исследователь: вот вышла книга его этюдов о Пушкине, и уже на другой день он рыскает по книжным лавкам и, волнуясь, вырезывает из свежего тома маленькую статейку, которую критика изобличила в грубой фактической ошибке. А как много в этой книге пронзающего о мудрости Пушкина — первый он сказал, что Пушкин — мудр — в те годы догадки об этом еще не было. /.../. Помню впечатление, вынесенное им из записок Алексея Вульфа, впервые напечатанных в 16-м году. Холодный разврат, вскрывшийся в них (не ради самого Вульфа, конечно, а ради участия в нем Пушкина), буквально терзал его и недели он ходил, как больной. Так оплакивают падение друга, брата... Все давнее в его маленьких комнатках становилось сегодняшним, живее живого.

Не знаю, казалось ли мне это или и вправду нигде так жарко не натоплено, нигде так не уютно, как в гершензоновской столовой, где мы сидим вечером за чаем. У самовара Марья Борисовна, приветливая, с умным, всегда заинтересованным взглядом. Она сестра пианиста Гольденвейзера, завсегдатая Ясной Поляны. Забегают проститься перед сном мальчик и девочка, оба курчавые, черноглазые. Перед Михаилом Осиповичем ящик с табаком, и вид этих пальцев, набивающих гильзы, неразрывно связан в памяти с его горячей, от волнения заплетающейся, шепелявой речью. С чего он начнет сегодня? Принесет с письменного стола архивную выписку, в его толковании по новому освещающую что-нибудь давно известное? Нет. Утром был у него Ходасевич. Михаил Осипович в полосе увлечения им: читает записанные им новые стихи, и, одновременно торопясь и несносно медля, въедчиво анализирует каждый оттенок мысли и выражения поэта. Если тут же за столом Бердяев или Шестов, привыкшие к скорым обобщениям, они заскучают и в нетерпении завертят ложечкой в чайном стакане. Но если прислушиваешься терпеливо к спотыкающейся

капризными загогулинками мысли Гершензона — так и посыпятся на тебя драгоценные крупинки наблюдений над живой душой. Гершензон капризен. Он всегда в увлечении кем-нибудь, чем-нибудь или в сварливом отвращении к кому-нибудь — хотя бы из вчерашних друзей, которые завтра снова будут его друзьями. — Есть маленькая книжечка « Переписка из двух углов », которая во всей свежести доносит до читателя дух и звучанье тогдашних бесед. Составилась она из подлинных писем Гершензона и Вяч. Иванова, когда их, изголодавшихся, в 19-м году приютил подмосковный дом отдыха : помещались они в одной комнате вместе с другими отдыхающими и — неугомонные разговорщики — чтобы не мешать соседям, не говорили, а писали, каждый сидя на своей койке.

Помнится, не всегда беседы тех лет были мирны, бывали и острые стычки, вспышки враждебности. К концу 16-го года резко обозначилось двоякое отношение к событиям на войне и в самой России : одни старались оптимистически сгладить все выступавшие противоречия, другие сознательно обострили их, как бы торопя катастрофу. « Ну где вам в ваших переулках, закоулках, преодолеть интеллигентский индивидуализм и слиться с душой народа ! » — ворчливо замечает Вяч. Ив/анов/ — « А вы думаете душа народа обитает на бульварах ? » — сейчас же отпарирует Бердяев. И тут мы обнаружили, что все сторонники благополучия, все оптимисты — Вяч. Иванов, Булгаков, Эрн — и вправду жительствуют на широких бульварах, а предсказывающие катастрофу, ловящие симптомы ее Шестов, Бердяев, Гершензон — в кривых переулочках, где редок и шаг пешехода... Посмеялись. Поострили. Затеяли рукописный журнал « Бульвары и Переулки ». Особенно усердно принялись писать жены — не лишенные дарования и остроумия Лидия Бердяева и Мария Борисовна Гершензон : шуточные характеристики друзей-недругов, пародии. Собрались через неделю читать написанное у нас — наша кварти-

ра символически объединяла переулок и бульвар : вход с переулка, а от Новинского бульвара отделял всего только огороженный двор, и окна глядели туда... Может быть у кого-нибудь и сохранились листки этого, кажется, единственного номера « Бульваров и Переулков ».

Но что же объединяло таких несхожих мыслителей, как Вяч. Иванов и Гершензон, Шестов и Бердяев? Это не группа идейных союзников, как были в прошлом, например, кружки славянофилов и западников. И все же связывала их не причуда личного вкуса, а что-то более глубокое. Не то ли, что в каждом из них таилась взрывчатая сила, направленная против умственных предрассудков и ценностей старого мира, против иллюзий и либерализма, но вместе с тем и против декадентской мишуры, многим тогда казавшейся последним словом ? ». Конечно, это было анархическое бунтарство, — у каждого свое видение будущего, стройное, строгое, определяющее весь его творческий путь. Что в том, что когда совершился грандиозный поворот в жизни страны, судьба всех их трагически не совпала с исторической судьбой родины. Люди дерзкой, самобытной мысли и отстают от века, и опережают его, но редко идут с ним в ногу. Вспомним Толстого и Достоевского. Им, этим одиночкам — бремя последнего отъединения. Соотечественники их — запечатанные, непонятые, молчащие книги. Но в свое время — может быть очень нескорое — печати снимутся, молчальники заговорят.

А в Кречетниковском, наряду с участием в умственной жизни друзей, шла своя женская жизнь. Особенно сгущалось это женское и семейное во времена наездов других членов нашей семьи — невестки, мачехи. Покупки, портнихи, доктора, массажистки. Всплывала позабытая родня. Тетушка, сестра отца, беженка из Варшавы, сядет за пианино и бисерной россыпью пробежит по клавишам — так играли в са-

лонах XIX века. Сквозь позевыванье скуки улыбаемся и умиляемся нашему прошлому.

А в центре всего — дети, их болезни, их капризы, их словечки, наблюдение над постепенно обозначающимися характерами. Обсуждение неудачных нянь. Среди этих сменявшихся нянь и вертушек-горничных была одна верная Василиса, кухарка, перешедшая к Аделаиде еще из старого герцыковского дома. Маленькая, вся кругленькая, короткорукая, костромичка с говором на « о » — сам уют, когда она, присев на низенькую скамеечку около сестры, лежащей на кровати, обсуждала с ней завтрашний обед или просила почитать о войне и, слушая, лила тихие, негорькие слезы... На все у нее свое словцо, всем — и свои прозвища. Бердяева за гром его речей, доносившихся и до кухни, прозвала « опровергалой ». Выглянув в окно : « вона ваш-то опровергало идет, палочкой постукивает ». Нашу Василису описал Ремизов, как-то в наше отсутствие останавливавшийся в Кречетниковском.

Иногда мы с сестрой спохватимся и яро возьмемся за запущенную и просроченную работу. Словари на обеденном столе, гоним мальчиков, обе за перевод, совместно обсуждаем трудности. Среди других переводов помню два томика комедий — Comédies et proverbes — Мюссе, изящнейших и почти неодолимо трудных, так как весь диалог построен на непереводимой игре слов. Мы с увлечением брали эти препятствия. Наш Мюссе так и не увидел света — рукопись сгорела в издательстве Сабашникова в 17-м году, да и век настал не под стать Мюссе. — Годы эти не были лирическими в жизни сестры — она почти не писала стихов. Зато тут были написаны ею своеобразные, очень отражавшие ее прозаические очерки и единственная ее повесть. Сотрудничала в петербургском журнале « Северные Записки ».

На неделю, на две приезжает с фронта муж ее, работавший там в Думской организации. В комнатах

раскиданы полувоенные вещи, немецкая каска. Он немногословен, рассказывает мало, рассеян к московскому — только отоспаться, отмыться — ходит по тамошним поручениям, приходят к нему тамошние люди... Иногда устраивал себе винт. Это мои любимые вечера. Часов в 9 сажусь в горячую ванну — от накаленной колонки пышет жаром в маленькой ванной комнате. Из ванной прямо в постель. Звонки собирающихся винтеров. На одеяле у меня книги: и умная, и божественная, и последний номер журнала, разрезной нож. Полученное письмо и начатый ответ. Хорошо отточенный карандаш. В предвидении долгих часов я пробежалась на Арбат и купила плитку шоколада любимого сорта. Сестра приносит чай с малиновым вареньем, ломтиками ветчины, сдобный хлеб, ванильные сухарики. Я буду пить всласть, еще чашку, еще. Адя принесет. Она присаживается и забавно рассказывает о даме-винтерке, красивой жене скульптора Домогацкого, об авторитетных ее литературных суждениях. Бедной Аде придется любезно бодрствовать часов до 2-х! Лежу, острое, почти пронзительное чувство благополучия, духовного и физического, — как будто я тогда знала, *какое* бывает *не*благополучие, как будто было сравнение! Меня зовут к телефону. Набрасываю халат, выхожу в переднюю (моя маленькая комнатка прямо из передней), плотнее прикрываю дверь в столовую — за ней кабинет винтеров. Да, он, Бердяев. У него сидят молодые спорщики, но он оторвался, чтобы перед сном посмеяться, позлословить со мной. Быстрый отчет дня, мысль, сверкнувшая ему за письменным столом. И смех. Непрерывный высокий пафос мысли, непрерывная лихорадка войны, в которой тогда жили, требовала разрядки в смехе. И умели же мы с ним смеяться — дерзко, отчаянно, не щадя своих же святынь, — все просмеять насквозь, как струей холодного воздуха, чтобы нигде застоя. Так крепка была вера. « Ну прощай, дорогая. До завтра ». — « До завтра ».

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПИСЬМА ЕВГЕНИИ ГЕРЦЫК К Л. ШЕСТОВУ

Судак, Крым 26. 1. 1924

Дорогой друг мой Лев Исаакович!

Шлю Вам привет после многих, многих лет разлуки. Я давно хотела писать Вам, но останавливало то, что ничего не знаем мы друг о друге чуть не за десяток лет, а сейчас, узнав, что моя хорошая знакомая, недавно уехавшая от нас, живет в одном доме с Вами, поручаю ей рассказать Вам о страде этих лет в Крыму, о Жуковских и обо мне и передать Вам это коротенькое слово.

Помню и чувствую Вас близким, несмотря на полное неведение всего что с Вами было, и так горячо хочу услышать Ваш голос.

За исключением полугода, который я провела с Бердяевыми в Москве, я эти годы жила почти безвыездно в Судаке в самом тесном мирке, но в нем отражалось все то же, что во всей Европе. И так внутренно значительны эти годы во всей своей трудности и безрадостности, что я не отказалась бы от них. И

радости, какие были, и боль — все было самое настоящее, а не слова, слова, как нередко бывало раньше.

Конечно эти годы не поколебали, а напротив укрепили сознание духовной осмысленности жизни, но только труднее это все выразить в словах, потому что требовательней стала я к правдивости слов. Когда еще лучше узнаешь все — совсем не станет слов. Но как « духа предпоследняя услуга », временами по прежнему увлекают меня острые *мысли*.

Так последнее время пленилась я Эйнштейном — видно до старости всего ближе мне будут (неразборчиво)

Милый Лев Исаакович, напишите мне хорошее письмо, как бывало Вы писали — прежде всего о личной жизни семьи Вашей, потом о том, над чем работаете, что писали эти годы, какие вопросы ближе всего Вам. Хотелось бы знать, что в умственной жизни Запада Вам близко, с кем из русских Вам радостно общение.

Знаю, что на все не ответить — но ответьте хоть на что нибудь, и главное *скорее.* Буду очень ждать.

Меня жизнь приковала к моей бедной вечно болеющей семье и оторвала от почти всего, что мне дорого, так что уже поэтому меня следует порадовать письмом.

От Бердяевых получаю изредка длинные письма и по прежнему с ними близка. Как то получила очень печальные строчки от Вячеслава [1]) из Баку. Как рассеялся наш былой кружок — Париж — Берлин — Москва — Баку — Крым... И много кругом *внутреннего* передвижения.

Недавно одна москвичка рассказывала мне как она слышала пламенную проповедь Над. Серг. Бутовой в одном из тогдашних приходов московских. — Это было незадолго до ее смерти.

Очень хочется мне знать как определилась жизнь

---

1) Иванова

и вкусы Ваших Тани и Наташи [2]) и что все вы делаете ? Вышло ли за эти годы что нибудь Ваше в печати?

Привет всем Вашим и Вам из самой глубины не забывающего друзей сердца.

Ваша Евгения Герцык

[Судак] 28. 8. [1924]

Дорогой Лев Исаакович !

Я очень виновата, что не ответила Вам, но я тогда со дня на день ехала в Москву и собиралась оттуда написать Вам, чтобы поделиться московскими впечатлениями.

Новые болезни задержали меня, а потом я ждала Вашего ответа Жуковским чтобы узнать летний адрес. Не будьте как я, и сообщите мне открыткой Ваш новый адрес в Париже.

Кроме письма Вашего еще заново и близко почувствовала Вас из тех выдержек из Ваших статей и статьи С.В. о Вас, которые добрые друзья для меня переписали. В особенности заинтересовало меня о Паскале и хотелось бы ее иметь. И так хотелось бы знать, как Вы звучите по французски. Хороший ли у Вас переводчик ? Сюда в Судак все хорошо доходит — если б у Вас был какой нибудь газетный отзыв о Вас — пришлите, доставите большую радость.

Какая жестокость — эта невозможность иметь хотя бы книги друзей ! Для меня книга совсем не ряд идей, а что-то столь же иррациональное, как лицо и голос человека : по ним я узнавала и полюбляла *людей*, а вовсе не их идеи. Так и должно быть. Так и надо писать, и надо читать.

Очень хотелось бы поговорить с Вами, милый Лев Исаакович, а писать письмо так убого. И всетаки такую

---

2) Дочери Льва Шестова.

огромную радость приносит каждое приходящее сюда слово. Помните это.

Живем и мы, как Жуковские, очень трудно, думаем, думаем как изменить жизнь, и ничего не придумаем.

Моя жизнь очень осложнена болезнями близких, приковывающих к месту. Летом здесь много москвичей, от них знаю как и там тяжела материально и всячески жизнь, так что нет такого *места,* к которому хотелось бы прикрепиться, а хочется старой свободы передвижений — но почти это одно из старого хотелось бы вернуть, потому что слишком пережглась душа и не мило старое.

Помните ли Вы Асю Цветаеву? [1]) Мы многое страшное здесь переживали с нею вместе. Она глубоко верит и вся устремлена к нездешнему; вся любовь ее к блеску мысли переплавилась в другую любовь.

Напишите будете ли читать в этом году и какой курс?

Я рада, что Н.А. в Париже и буду зимой в своем невероятном одиночестве представлять себе иногда вас вместе и в городе, где так многое старое мне дорого.

Пока кончаю, ответьте скоро или Жуковским или мне, чтобы мы знали, что письмо дошло — верно Вы уже не в Châtel-Guyon.

Привет Вашим и поздравление молодому инженеру.

Искренно Ваша Евг. Г.

---

1) Анастасия Цветаева, сестра поэтессы Марины Цветаевой.

18. 1. 1925

Дорогой друг Лев Исаакович !

Чуть не полгода не отвечала я на Ваше летнее письмо, между тем общение с Вами всеми дальними для меня радость.

Молчала потому, что все хотелось содержательней и полней написать, а время уходит и хочу сегодня хоть бегло, плохо поговорить с Вами.

Кое что знаю о Вас через Гершензона — о том, что Наташа блистательно окончила. Где она теперь работает — молодой и привлекательный (думаю так) инженер ? Как хотелось бы видеть какую нибудь домашнюю группку вас всех — ведь я помню Ваших девочек еще румяными подростками — а этому уже скоро десять лет.

Близка ли которая нибудь из них миру Ваших мыслей ? Если Вам не трудно, охарактеризуйте немного их, чтобы яснее мне представить Ваш семейный круг.

На днях, встречая одиноко Новый Год, я думала о том, что — значительный год — завершение первой четверти века. И мысленно оглядела всю эту четверть века.

Не помню в 1900 или 1901 году умерли Ницше и Соловьев и для меня лично это были важные моменты, точно впервые толкнувшие меня к тому, к чему и сейчас иду. И Вас я тут же вскоре узнала — скоро двадцать пять лет !

Обещанная Вами Жуковским книга Ваша о Паскале нас горячо интересует — дойдет-ли и когда ? Особенно интересуюсь ею потому, что сама не люблю Паскаля, как то отталкиваюсь от него, но он беспокоит меня. Не люблю должно быть за самоистязания его. И тем более хочу слышать о нем любящие слова, да еще *Ваши*.

А что пишете сейчас или что читаете и где? Также хотела бы знать больше о Валери — какого он типа философ и какая книга его наиболее интересна? Если мне удастся быть в Москве, может быть я нашла бы что нибудь его.

Как чудесно, почти неправдоподобно представить себе жизнь в парижских умственных кругах и хождение по этим улицам, для меня не более доступным, чем любая звезда!

Но не думайте, что я создаю себе иллюзии относительно вашей жизни или что ропщу на свою. И от той и от другой в каждый миг начинается «путь» и одинаково труден и богат он. Только уж очень здесь в глухом углу чувствуешь свою закрепощенность всяческую. Постоянное безденежье не дает мне двинуться, поехать на время в Москву, что мне очень, очень нужно.

Лев Исаакович, хочу Вас попросить как человека чуточку менее нуждающегося чем другие — не смогли бы Вы прислать мне те 5-6 долларов, которые мне хватят на дорогу в Москву? Я уверена, что оттуда верну Вам их, т. к. буду энергично продавать там кое что из оставшегося. (С поручениями такого рода издали ничего не выходит — всем некогда). И то что деньги эти будут иностранные — доллары или франки — не даст мне возможности — как это было уже не раз — истратить их здесь же, сейчас же на какие нибудь нужды семьи. Если это Вам трудно — то простите и забудьте мою просьбу.

У Жуковских есть некоторые надежды на переезд в будущем году в Москву, но смутные, так как там сокращения. В Симферополе же живут они очень скудно. Мальчики хорошие и умные растут. Я не ужасаюсь, как другие, будущим русских детей, т. к. думаю, что внешние системы воспитания могут иметь неожиданные результаты.

Привет всем Вашим, а также Ал. Мих. и С.П. [1]). Что делает и пишет он? Где Вар. Гр. и что с нею?

Не будьте таким же как я и напишите скоро, хоть открыточку. Любящей мыслью всегда с Вами.

Евгения Герцык

[Подмосковье] 30. 4. 1925

Дорогой Лев Исаакович!

Опять я промолчала целые месяцы в ответ на Ваше такое скорое письмо. Долго не могла собраться в Москву, а приехав сюда провела недели три в непрерывной и разнообразной суете. Теперь я в глухом уголке московской губернии, в лесничестве, где служит брат. Красота места — высокий лесной берег над извилистой речкой и синеющие дали — и все это такое *русское* — глубоко волнуют меня.

Обсуждали с братом трудную судьбу нашей семьи и возможно, что окончательно остановимся на переезде нашем сюда, несмотря на скудное жалование его. Условия жизни здесь, вблизи Москвы, в смысле настроений, ненапряженности отношений, несравнимо лучше чем где бы то ни было.

Вопрос о переезде Жуковских в Москву тоже на очереди и самое главное — квартира им — устраивается хотя и на окраинах. Смерть М.О. [2]), так незадолго до моего приезда, собою окрасила все эти дни в Москве. Потому ли, что так внезапно ушел он из жизни, его портрет в гробу живее других его портретов, а в комнате его так, как будто он только что ушел.

Не угасание, не ущерб — такая смерть, а прилив жизни, и мысли и любви, внезапно оборвавшихся... На письменном столе его я каждый раз заставала лежа-

---

1) Алексей Михайлович и Серафима Павловна Ремизовы.
2) Гершензона.

щей кошечку, к которой — странно — он, никогда не любивший зверей, нежно привязался в этом году и возвращаясь прежде всего о ней спрашивал. И, по словам М.Б. [1]), она тоже по кошачьему тосковала о нем целый месяц и не находила себе места. В его комнате — как и вообще часто в последнее время — так близко, так остро чувствую я приближающийся ко *всем* нам конец — таинственное начало нового. На стене там Ваше лицо, дорогой друг, такое тоже далеко уже ушедшее, издалека глядящее... И потом — старого старичка лицо, с уже не завивающимися, а падающими прямо белыми волосами — Вячеслава. Не нужно уже его называть Великолепным. По другому красит приближение конца и Правды.

Я прочла Вашу книгу о Паскале. Мне очень нравится. Почему то ближе всего она к первой Вашей, которую я прочла — о Толстом. Точно меньше искусства и умственных ухищрений в ней, чем во всех предыдущих. Конечно я верю, что знаю *другой* Рим чем тот, о котором Вы говорите, и живу этим знанием, но это не так уж разъединяет людей. Очень хочется еще что нибудь из Ваших странствий по душам. Перечитываю здесь разные, вышедшие за эти годы, книги старых друзей. С литературной же Москвой совсем еще не встречалась. Мои же личные друзья, которых вижу, все без исключения переживают что-нибудь тяжелое — утраты, болезни и др. В смысле материальном живется сейчас всем хуже, чем год назад.

Я еще не благодарила Вас за обещание прислать денег мне и Жуковским — каждая копейка теперь так ценна — и вдвойне дорого то что это приходит от настоящих друзей. Когда увидите Бердяевых скажите им, что напишу им на днях.

Пробуду в Москве еще месяц или немного более. Если бы захотели мне написать, то адрес мой : Арбат, 55/32 кв. 12 или через М.Б.

---

1) Марья Борисовна, жена М.О. Гершензона.

Здесь в лесу — душистая ранняя весна : почки у тополей набухают. А у Вас верно уже цветут каштаны. Куда уедете Вы летом и как здоровье Ваше, дорогой друг и уже навеки недостижимый.

Привет сердечный Вашим и всем кого знала.

С. Любовью Евг. Г.

Судак 23. 12. 1925

Дорогой друг Лев Исаакович !

Я молчала так долго, потому что мне было слишком трудно преодолеть тупое оцепенение, сковавшее меня после первых, таких озаренных дней и даже месяцев. Тогда двери как будто приотворились — а потом захлопнулись наглухо. Это очень тяжело перенести. Столько было передумано за это время, о чем хотелось бы говорить с Вами, но в письме это не пишется. Но знайте, дорогой друг, что Ваши слова... такие понимающие ее, были мне радостны как мало что за это время.

Осень я провела в Симферополе в опустевшем Адином доме и там особенно тяжела была мне моя омертвелость, потому что сознавала как в каждый миг реально нужно мое активное участие в жизни мальчиков, в их учении, в их вопросах. А я еле жила рядом с ними.

Димитрий Евгеньевич, насколько может, хорошо и мужественно выполняет трудную свою задачу. Сейчас идет у него переписка с Москвой, где ему предлагают лучше оплачиваемую работу (тоже научную — а он действительно полюбил свою биологию !). И желаю ему этого, так как здесь уже очень трудно материально, и боюсь расстояния, которое вырастет между ними и моей здешней семьей, которую пока оставить я тоже не могу. Вообще трудно разрешить все сложности нашей жизни !

Я долгое время ничего или почти ничего не читала — все было или не интересно, скользило, или было мучительно, как например книги Гольденвейзера об умирающем Толстом : несколько человек из минуты в минуту в своих дневниках записывали тайну его умирания — духовного и физического ! — А теперь у меня проснулся голод на хорошее, глубокое, непреходящее и как мне хотелось бы Вашей статьи (или книги) о Декарте, Паскале и Спинозе. Сыны и пасынки, нет ? О ней мне горячо, восхищенно писали из за границы.

Мне очень памятны Ваши слова о Паскале во французской книжке и они впервые меня к нему привлекли — не любила его никогда.

Напишите, что еще писали Вы за это время или что прежнее вышло по французски и какие отзывы вызвало — мне это очень интересно.

Я просматривала это время французскую литературную газету Les Nouvelles Littéraires, и так ясно встала предо мною давно невиданная картина французской духовной жизни — какая все еще глухота к чужому, ненависть к германскому ! Часто упоминается имя Paul Valéry, о котором Вы как то писали. В чем его особенность, какого он духа ?

Из того что здесь выходит почти только и интересны разные материалы — особенно о Достоевском — которые в большом количестве выходили эти годы. Мар. Бор. писала мне, что у Сабашн. издается книга писем Мих. Ос. — 150 выбранных из *трех тысяч* написанных им к родным в Одессу. Я не знала, что он так был с ними близок. Что и кем было написано о нем за границей ?

Я очень давно не имею вести ни от кого из вас — о Кламаре ничего не знаю. Как ни скупо пишутся письма, читаю их так жадно, вчитываюсь, чтобы близко почувствовать далеких близких.

Как здоровье Ваше ? Непременно напишите, когда напишете — что с глазами Вашими и вообще ? Не

молчите очень долго, дорогой друг, и мне и Дм. Евг. дорого слышать Вас.

Пишите в Судак или Симферополь — все равно.

Знаете ли что нибудь о Вячеславе — кроме того, что он в Риме? Всем близким привет. Буду и другим писать скоро.

Жму руку с любовью.

Ваша Евгения Герцык

[Судак ?] 8. 4. 1926

Дорогой Лев Исаакович!

Я долго Вам не отвечала, но так была обрадована Вашему письму. Тогда же переслала его Дм. Евг. так что у меня его нет под рукой, чтобы вернуться к тому что Вы говорите о стариках — греках, над которыми Вы охотно сидите теперь.

Я очень думала о приведенных Вами словах Плотина о последней борьбе, предстоящей душам. И о том, какой Вы вкладываете в них смысл. Вы не любите, дорогой и старый друг, когда Вас допрашивают. Но простите мне — хотя бы потому, что так издалека говорю с Вами — и может быть ответите? Ведь стоит ли так бороться душе, если поживем мы, поживем и все кончится? Не значат ли эти слова, что это «последнее» — в каком-то смысле и «первое» чего-то что лежит по ту сторону этой борьбы — в смысле ли времени или глубины? И нельзя ли поэтому еще *до* этой борьбы и зная, что она *будет* и что она, конечно, испепелит все наши ценности — нельзя ли все-таки жить отблесками того, что *Там*? Просто внутренней тихостью, внутренним светом соприкасаться с тем, что *за* всеми борьбами? Неужели страдание непременно более достоверное свидетельство? — Но я вижу, что все эти вопросы в сущности не вопросы и что отве-

чать на них нечего. И мне хочется спросить Вас немножко по другому. Скажите, неужели долгий и трудный опыт Вашей жизни не сделал то, что опостылело всякое утверждение розни (борьба) и правда увиделась только в единении? Единение — это не « Рим » и не всякие Римы, а мир, мир с Богом и с собою. А потом пускай борьба со всем и со всеми, — все равно знаешь уже, что *главное* узнается не в борьбе.

Дорогой друг, скажите мне хоть слово в ответ, только совсем *простое* не умственное. И простите мне — еще раз повторяю — хотя бы за то, что очень далеко живу и что верно никогда не увидимся.

Я очень стала молчаливая, но внутри живу очень счастливо, хотя и трудно — ломается многое внутри. Хочется чтоб совсем не осталось умственных стенок и предрассудков. Самое трудное от этого отделаться в писании — испытываю глубокое отвращение к изысканности и умственности того, что писала и что заканчиваю теперь, а сделать ничего не могу. И потом, я так люблю *слово,* соблазняюсь им. Мне кажется даже, что может быть какая то терапия словом : я лечила и вылечивала себе мигрень стихами Пушкина. И с детьми нашими я бессознательно как-то веду свою « пропаганду » больше всего стихами (они сейчас — т. е. мальчики — переживают пору отвращения, скепсиса и увлечения всякими биологиями). И какой верный и глубокий ток пробуждают в душе прекрасные наши русские поэты, т. е. самый звук русского стиха! Вы теперь ведь и « педагог », Лев Исаакович, правда? Как хотелось бы знать что нибудь из Вашего общения умственного с молодежью. Пожалуйста, скажите мне об этом. Мне было очень интересно от Вас услышать хоть краткий рассказ о разных западных писателях, потом видела их портреты — Valéry, Maritain — и читала несколько страниц их. Но они меня определенно мало влекут.

Очень давно ничего не получала из Кламара, а

от С.Н. [1]) получила из Ниццы. Как то все вы живы, здоровы? Весенне ли уж в Париже? У нас после теплой зимы в апреле снег падает хлопьями, но я и радуюсь задержать зиму, чтобы не наступило всегда шумное у нас лето, чтобы додумать.

Живем в полном уединении, совсем без людей. Только письма. Внешне благополучны — и в Симф. и здесь и здоровы. У Дм. Евг. все не устраивается место в Москве. Пишет мне мало, так что о состоянии его душевном мало знаю. [неразб.] был здесь, а в мае жду их сюда на лето. Меня очень мучает, что я так мало для них делаю. Это мой больной вопрос.

Ну вот, дорогой друг, прощайте пока.

Напишите когда нибудь опять и, если можно, о том что пишется сейчас.

Привет всем.

Ваша Евгения Герцык

---

1) Вероятно, Сергей Николаевич Булгаков.

ПИСЬМА АДЕЛАИДЫ И ДИМИТРИЯ ЖУКОВСКИХ К ЛЬВУ ШЕСТОВУ

Симферополь 14. 6. 1924

Дорогой Лев Исакиевич!

Несколько лет упорной борьбы за « благополучное, нищенское существование » — вот как можно охарактеризовать нашу жизнь. Правда, у меня (не Аделаиды Казимировны) была приятная работа (даже отчасти научная, поскольку хватало времени) и бодрое настроение.

Теперь же напала апатия ввиду полной безвыходности в будущем. Университет наш реформируется и я теряю место. Теперь уже будет не нищенское благополучие, а неблагополучное нищенское существование, вернее ουκουσια (отсутствие существования).

Аделаида Казимировна загорелась мыслью о переезде в Париж. И так как она, Вы знаете, мистичка, то верит, что ее желание родит реальное осуществление. Это сродни и твоим мыслям, — у тебя в подполье мысли, хоть и бессознательные, все осуществляют какие-то грандиозные события, но события-то эти можно смаковать при ницшевском [неразборчиво] des

Wortes. Я все таки реалист и хотел бы, чтобы (неразб.) не предпосылалось, а осуществлялось.

А потому, подсказывает мне Аделаида Казимировна, сообщи, как мне можно прокормить семью в Париже и дать образование детям? Из меня мог бы выйти, например, недурной консьерж, и это занятие кажется мне самой большой карьерой, о которой я могу мечтать. Однако у меня скромные желания, и я готов спуститься ниже по социальной лестнице, поэтому готов взяться и за интеллигентный труд, например — быть переводчиком, или корректором в какой нибудь конторе, или приказчиком в книжной лавке и т. д.

Вообще я не знаю такой унизительной работы (вплоть до занятия в лаборатории или библиотеке) за которую не взялся-бы!

Что ты скажешь об этом? Говоря без иронии, я хочу работать и согласен на всякую работу. Здесь я до сих пор был ассистентом по кафедре гистологии и занимался кроме того переводом на немецкий язык научных работ. Перевел около десятка работ, из которых уже более половины напечатаны на немецком языке. Сделал и сам маленькую научную работу.

Мой старший сын четырнадцатилетний имеет несомненный писательский талант и художественную восприимчивость. Очень тонко чувствует и любит природу, но, к несчастию, любит аффектацию. Страшно думать, что он не получит образования.

Искренний привет Анне Елеазаровне, Тане и Наташе. Привет Ремизову, если он там.

Целую тебя и буду ждать письма. Радуюсь, что французы оценили твое подполье.

Твой Дмитрий Жуковский

Симферополь Суворовская 6.
13. 6. 1924

Дорогой Лев Исакиевич!

Сестра переслала нам Ваше письмо к ней, полученное в марте, и для нас было большой радостью увидеть страницы, написанные Вашей рукой и узнать о Вашей жизни. Как хотелось бы прочесть и « Странствование по душам » и особенно « Révélations de la mort » — ибо никогда смерть не была такой заманчивой и влекущей как теперь. Мне, как русской, гордо сознавать, что Вас оценили французы, хотя быть может и не понимают вполне, то есть понимают по *своему*, именно те стороны Вашего дарования, которые соответствуют их духу — изящество, тонкость мысли... (дух Montaign'я, Bergeret у Франса и т. д.) Кто переводил Вас? Хорошо ли передал Ваш стиль? Как интересно-бы взглянуть на перевод! И как печально, что нам здесь все это недоступно... Теперь нас с сестрой мучает Ваша « Власть ключей », книга о Паскале... и по заглавиям стараемся угадать, о *чем* это. Так же как книга Бердяева « Философия неравенства » уже переводится на английский язык, а мы не знаем, прочтем ли ее когда нибудь...

Какой молодец Ваша Наташа — сердечно поздравляю ее с степенью инженера — письмо это придет, верно, когда она уже получит ее.

О нашей жизни внешней писать не буду, а *иной* сейчас нет. Дм. Евг. написал Вам о нашей мечте (но дозволено ли теперь мечтать?), и я с своей стороны горячо прошу Вас и Анну Елеазаровну подумать и ответить, считаете ли Вы возможным для нас прокормить и одеть себя и детей (— и, разумеется, и учить их?) Дм. Евг. проявил эти годы такую неутомимость и энергию в работе, каких я не ждала от него, но он такой человек, который не сможет, в силу своих душевных качеств, « устроиться » в России при нынеш-

них условиях и обречен на постоянную нужду. Сейчас он очень упал духом. Теперь происходит во всех учебных заведениях так называемая «чистка», и множество студентов исключается. Говорят, что в Москве это происходит и в гимназиях!... Но в Москве, помимо невозможности учить детей — совершенно нельзя найти помещение... И вот мы не знаем, куда направить свой жизненный путь. Я думаю, что в Берлине и Праге (оттуда нам писал Булгаков) устроиться почти невозможно, — русским живется там очень трудно. Остается самое желанное — Париж...

Чтобы Вы имели представление о скромности наших требований и жизни, скажу, что в течение двух лет мы ютились в маленькой, сырой кухне, где хозяева стирали и пекли хлеб (там мой младший мальчик перенес воспаление легких). Теперь у нас почти роскошная квартира (две комнаты!), но она нам не по средствам!..

Вот уже года два, что Д. Е. спит без простынь (ибо у нас их пять на четырех), а я с старшим сыном имела всю эту зиму одну общую пару башмаков, которыми мы пользовались по очереди... Это как иллюстрация.

При всем старании найти себе какую нибудь литературную работу, перевод, корректуру — ни я, ни сестра не можем этого. А у нее есть написанные вещи... Да мне в сущности и нет времени, так как стряпня, стирка и т. д. отнимает все время и все силы.

Меня смущает мысль оставить в России сестру, но мне кажется, что, живя за границей, я могла бы ей дать больше, а может быть исподволь найти и ей работу там. Здесь я ни разу не могла матерьяльно помочь ей, или хотя-бы прислать желаемую книгу.

Книги вообще совершенно недоступны, — их выходит много, есть интересные (особенно научные), и чтоб купить один экземпляр — складываются пять-шесть человек профессоров или студентов.

Итак — будем ждать Вашего ответа.

Хотя, если он даже будет благоприятным — это

нас не подвинет вперед, так как нужны деньги на дорогу, а их нет. Но это ничего. Важно, что будет нечто en vue и это даст энергию искать выхода и добиваться. Я знаю, что такая возможность (— хотя бы и « невозможная ») поднимет дух Дм. Ев-ча.

Но знаете — я рада, что была в России все эти годы и вместе с другими несла ее страду, — еще два года назад я отказалась бы покинуть ее... Но теперь жизнь все более входит в « норму » (появились даже серебрян. деньги), — отсутствие пафоса гибели как то отняло и силу жить...

Шлю сердечный привет Вам и Анне Елеазаровне и целую милых девочек. Боже, как давно все было !

И было ли вообще все, что было ?...

Ваша всей душой Аделаида Жуковская

Судак 27. 8. [1924]

Дорогой Лев Исакиевич !

Вчера дошло до нас наконец Ваше письмо, отправленное 11-го июня ! ! Оно долго пролежало в Симферополе, так как Дм. Евг. тоже уехал оттуда, и оно пришло в его отсутствие, — и получилось здесь как раз на другой день после его обратного отъезда в Симферополь.

Недель пять назад мы получили из Москвы двадцать долларов через одну незнакомую даму сообщившую нам, что эти деньги от Вас. Я написала Вам тогда открытку (по Парижскому адресу) — не знаю, дошла ли ? Не могу выразить, как нас смутила и тронула эта присылка. Мы знаем, как трудна Ваша жизнь, и нас всех очень мучает, что Вы себя лишили такой суммы. Дм. Евг. надеется, что как нибудь справится и хотя по частям вернет Вам эти деньги.

Но если бы Вы знали, в какой трудный миг они пришли и как выручили нас ! На Судакский дом был наложен большой налог, жалованье из Университета

задерживали без конца, и мы нищенски прятались, рискуя быть выселенными из дома.

Вы знаете, что здесь кроме сестры, живет наша belle-mère, больная жена брата (его самого год назад выслали из Крыма), и ее маленькая дочка, так что им очень трудно и особенно важно сохранить кров. Их единственный добытчик — далеко, а в доме постоянные болезни. Теперь сестра собирается в Москву (не знаю, — сможет ли поехать) и будет всячески стараться достать переводную работу себе и мне и пристроить свою (по моему, очень интересную) статью об Эдгаре По.

Несмотря на материальные невзгоды — мы все же хорошо провели лето — было радостно быть вместе, мы много читали и говорили « по старинному », а наши судакские горы и море по прежнему прекрасные.

Скажите А. Мих. Ремизову, когда его увидите, что нам прислали из заграницы его статью о Розанове (там же о Вопрос. жизни и о Дм. Евг.). Очень хорошо он написал — и Дм. Евг. утешился и развеселился, читая свою характеристику, как издателя.

Но в настоящее время он уехал очень подавленный, так как мало вероятия, что за ним сохранится место в Университете. Там огромные « сокращения », а гистологический Институт, где он преподавал, совсем упразднен. Скоро выяснится наша ближайшая доля (или бездолье), и я тогда сообщу Вам о ней.

В Москву перебраться невозможно, это говорят все (немыслимо найти помещение, нет работы, нет у нас обуви и теплой одежды для севера и т. д.) — Так что будем придумывать что нибудь другое. Я не унываю и верю, что найдется исход, как уже находился столько раз. Спасибо Вам, наш добрый друг, за всю заботу о нас и за сведения о Париже. Я понимаю, что нужно чудо, чтоб устроиться сносно за границей, — из Праги Сергей Николаевич [1]) уже давно писал нам, не

---

1) Булгаков.

советуя ни в каком случае ехать туда, и радуясь, что его сын Федя остался в России. Нет, очевидно надо unserer Heimat treu bleiben и возводить новую жизнь среди осыпающихся русских песков...

На этот раз кончаю, чтоб не перегрузить конверт, — всегда неуверенность, что письмо дойдет.

Я пробуду здесь еще недели две с младшим мальчиком, а потом — опять в Симферополь, но до тех пор еще надеюсь написать Вам.

Еще раз от всего сердца спасибо за помощь и отзывчивость. Шлю Вам, Анне Елеазаровне и девочкам горячий привет. Письмо Ваше сегодня пересылаю Дм. Евг.

Ваша Алелаида Жуковская

Много ли пишете это лето? Всем нашим друзьям — Бердяевым и Ремизовым — шлю душевный привет.

Каким инженером будет Наташа? архитектором? техником?

Симферополь 28. 11. 1924

Дорогой Лев Исакиевич!

Не знаем Вашего адреса и потому пишу всего несколько слов по адресу, данному Вами в последнем письме. Может быть дойдет до Вас? На днях из письма Гершензона узнали, что Вы все еще не можете поправиться, и какие-то внутренние боли упорно мучают Вас. Нас это встревожило, и потому будем очень благодарны если Вы, хотя бы открыткой, сообщите о себе... Как себя чувствуете?

Перебрались ли в Париж? Там ли Бердяевы? и Ремизовы? Что делают Таня и Наташа? Нашла ли Наташа уже применение своему инженерному зва-

нию? Столько вопросов теснятся в душе, но не хочу обременять Вас.

Вы пишете, что собираетесь послать нам (или уже послали?) свою книгу о Паскале. Вот была бы радость, если б она чудом дошла до нас! Русский или французский экземпляр? Я написала об этом сестре, и она с таким же нетерпением ждет ее.

Вы очень занитересовали нас упоминанием о Paul Valéry — так хотелось бы знать, в каком роде он пишет, в чем его философия? Может быть, он есть первое большое глубокое явление, порожденное всем пережитым...

У нас переводится и выходит огромное количество новых французских книг, но, конечно, до философии еще не добрались — да и не доберутся. Ее, как и все гуманитарные науки, упразднили в России. Мне бывает иногда невыносимо тоскливо от грубого материализма, проникшего во все области и подавившего все собой.

В беллетристике появились два, три очень талантливых, ярких, своеобразных писателя (Бабель, Замятин и Сейфуллина) с богатым, свежим языком... Это тот же безнадежный, голый реализм, но, благодаря талантливости, дающий на миг иллюзию, что такова и есть жизнь, — и лишь потом, по чувству унижения и протеста, сознаешь, что все это изображено « на плоскости » — без « вертикала » — как говорил Вяч. Ив. — О нашей жизни как-то не хочется говорить в этот раз.

Остались еще на год в Симферополе, так как пока Дм. Евг. имеет кое какие занятия при Университете, а одно время занимался корректурой в типографии.

Конечно, жизнь трудна, но так многие живут еще хуже. Лишь бы сохранить здоровье и силы, а как раз сейчас Дм. Евг. сидит дома в инфлюенце и должен был прервать занятия.

Мучает нас то, дорогой Лев Исакиевич, что несмотря на огромное желание — все еще не в состоянии

отложить хоть что нибудь для возвращения Вам нашего долга... Шлю Вам, Анне Елеазаровне и девочкам (их уже нельзя называть так!) горячий привет.

Дм. Евг. хочет приписать. Отзовитель. Ваша А.Ж.

(Аделаида Жуковская)

Целую тебя, дорогой Лев Исаакович.

Привет Анне Елеазаровне и твоим милым дочкам Тане и Наташе. Сейчас в инфлуенце сижу дома и читаю. Из серьезного тепер читаю только по своей специальности биологии.

Как твое здоровье? Будь здоров

Дмитрий Жуковский

О загранице перестали мечтать. Чувствую, что это не может и не должно совершиться человеческим произволением.

Николаю Александровичу и Лидии Юдифовне[1]) шлю горячий привет и поцелуй. Не знаю их адреса. В Судаке дело обстоит печально. Наш дом муниципализировали, и все мои (сестра, жена брата и Ев. Ант.) очевидно последнюю зиму проводят там — их просят освободить дом. Но может быть это и к лучшему, т. к. заставит искать энергичного выхода и переезда.

* * *

[Судак, конец июня 1925 г.]

Дорогой друг Лев Исакович, и хочется писать тебе и так трудно, ты знаешь, верно, о нашем ужасном, непоправимом несчастии. Мы проглядели . . . болезнь почек. Она выражалась лишь болями в спине сравнительно мало беспокоившими. 20 мая Ад. Каз. переехала в Судак. По дороге она сильно промокла под дождем. Около 12-го июня произошел первый страшный припа-

1) Бердяевы.

док уремии, от которого она оправилась, а через две недели второй припадок, который унес ее. Похоронена в Судаке.

Не могу, дорогой, ничего писать. Хочется только крепко поцеловать тебя. Хочу послать тебе несколько ее стихотворений.

ДЕКАБРЬ 1921

Святая книга... я одна —
За мною день чернорабочий,
Еще не спала пелена,
Не тороплюсь навстречу ночи.
    Лежу так, как легла ничком,
    Не шевелясь усталым телом,
    Еще не смолк дневной содом,
    Еще нет мочи крыльям белым.
Безмолвна под рукой моей
Пророчественная страница :
Ах, впереди таких же дней
Неисчислима вереница !
    Что скажешь в утешенье ты ?
    Простишь ли в благостной святыне
    Всю неулыбость нищеты,
    Все малодушие уныний.
Объемлет тяжкий сон меня,
Не давши разгореться мигу.
Сжимает сонная рука
Молчащую, святую книгу.

1921

Поддержи меня, Господи, святый !
Засвети предо мною звезду —
Видишь нужен мне провожатый,
Еще миг и я упаду...
    Знаю — раб я негодный, ленивый,

Не сумела сберечь свой кров,
С трудовой Твоей Божьей нивы
Не собрала плодов.
И теперь среди голых окраин
Я — колеблемая вихрем трость...
Господи! Ты здесь хозяин
Я — только гость...
Отпусти же меня этой ночью,
Я не дождусь зари,
Отпусти меня в дом мой отчий
Двери свои отвори!

Друзья! ведь это только «путь»!
Когда заря погаснет в небе,
Нам можно будет отдохнуть,
Тоскуя о небесном хлебе
Молитву кроткую шепнуть,
На миг поверить близкой встрече,
А утром снова, снова в путь
Тропой унылой, человечьей...
Звезды над ней не блещут
Птицы над ней не плещут...
Господи! Помоги нам!

ЗИМА 1924/1925

Какая радость снять оковы
Сомнений, робости, забот!
Вокруг пустынно и сурово.
Кто близок мне — еще придет.
Из темных недр, из заточенья
Всех выпускать на вольный свет,
Пусть думы, шепоты виденья
Узнают вновь, что смерти нет.
Слова танцуют, как в похмельи
И каждый звук их к сердцу льнет
Из них сплетая ожерелье,

Неслышно двигаюсь вперед.
Как знать, дождусь ли я ответа?
Прочтут ли эти письмена?
Но сладко мне перед рассветом
Будить родные имена!

ЗИМА 1924/1925

С утра стою перед плитой
Дрова, кастрюли, мир предметный.
С утра дневною суетой
Окутана и безответна.
Привычной двигаюсь стопой
Почти любя свой бедный жребий,
Но сердце ловит звук иной,
К далекой приникая требе.
Звучит торжественно обряд,
Несутся стройны песнопенья
И мнится мне, что с ними в лад
Творю и я богослуженье.

Давно уже не было острой муки
Не приходил жестокий вожатый
Не клал мне на плечи тяжкие руки,
Не требовал от меня расплаты.
Но кто-ж позовет себе гостя такого!
Кто сам наденет венец терновый?
Немудрое тело боится страданий,
Но в тайне от тела сердце готово
И просит себе наказанья.

Напиши, дорогой, хотя несколько слов.

Хоть и здесь ее могила, я все таки стремлюсь к вам, как на родину. Дети мои здоровы, они хорошо перенесли свое горе.

Искренний привет Анне Елеазаровне и дочерям твоим.

Крепко целую тебя.

Твой Дмитрий Жуковский

Осень 1925

Дорогие Анна Елеазаровна и Лев Исакович!

Большое спасибо за милые сочувствующие строки. Хоть и наверно знаю, что все ее любили, но так утешительно еще и еще раз слышать слова любви к ней и убеждаться что не недооценивали ее.

Все сильнее и острее ощущаю, какого друга я лишился на те немногие годы, что мне осталось жить. Но и не себя только и детей, лишившихся такой матери, жаль, жаль ее самой, которая уже не радуется всему в жизни. Радость воплощенная ушла из жизни. И какая ей, казалось, светлая и тихая старость предстояла!

Странно сказать, что последние годы ужасной нищеты были кажется самыми счастливыми годами моей жизни. Мне казалось, что и она была сравнительно счастлива. И не может примирить то, что смерть для всех. Но она ведь единственная! Вдохновенная статья, которую нам сюда прислали и которую ты наверное читал, не обрисовывает все величие ее натуры.

Это было гениальное сердце. Дар сочувствия и в горе и в радости был у нее необычайный. И этот дар, который она все время проявляла, был делом ее жизни. Непрестанно, все время она жила в постоянной эмоции сочувствия ко всем окружающим, и при этом ни малейшей нервозности или аффектации и полная простота и наивность. При большом творческом даре, т. е. даре улавливать, объективировать свои [неразборч.] движения мысли и чувства, полное отсутствие самолюбования. Она была полным опровержением [неразборч.] морали, ибо долга у нее не было. Ее естественная любовь и сочувствие заполняли всю ее жизнь и все поведение. Это было воплощение [неразборч.]. Если прибавить к этому ее ум и дар творчества, пита-

ющийся натурой, то приходится сказать, что это был совсем исключительный человек.

Ее религиозность, как мне кажется, вытекала из ее дара любви и сочувствия. Ее сочувствие было столь огромно, что не могло умещаться в этой жизни, оно было какое-то метафизическое « Jede Lust Will Ewigkeit, viel lange, Lange Ewigkeit ». Это чувство любви и сочувствия, в нашей философской перспективе бесконечности, требовало и Бога и бессмертия и рая. « Только тайна одна необманная мне явилась, дух зажгла, как любить любовью безгранно, как в любви вся земля светла ».

А вот одно из последних стихотворений — 1925 г. :

Дают нам книги холодные, мудрые,
И в каждой сказано о Нем по разному.
Толкуют Его словами пророческими
И всякий толкует Его по своему.
И каждое слово о Нем — обида мне
И каждая книга — как рана новая.
Чем больше вещих о Нем пророчеств,
Тем меньше знаю, где правда истинная.
А смолкнут речи Его взыскующие,
И ноет сердце от скуки жизненной...
Как будто крылья у птицы срезаны,
А дом остался без хозяина.
Но только свечи перед иконами,
Мерцая, знают самое важное,
И их колеблющееся сиянье
Их безответное сгоранье
Приводит ближе к последней истине.

Хочу еще привести тебе несколько ее стихотворений. Так мучительно и утешно перечитывать их и плакать. Не могу читать их без слез.

Приписка : Вы спрашиваете о детях. Далику 16 лет. Хороший мальчик, хотя безвольный, недисциплинированный. Раньше увлекался писательством. Повиди-

мому имеет литературный талант. Писал и стихи. Выработал стиль. Теперь забросил. Увлекается, чем думаете, стенографией ! ! Также путешествиями. Исходил весь Крым пешком. Делает по 60 верст в один день. Очень любит природу. Ника — загадочный мальчик. Я не вижу ни одной своей черты в нем. Ад. Каз. говорила то же самое. Но это не верно. У него очень милое личико с ангельским выражением кротости. Замкнутый, простой. Хороший математик. В остальном немного отстал. 12 лет.

(письмо без подписи. Написано Дмитрием Жуковским)

СОДЕРЖАНИЕ